



Елена Крюкова
Железный Тюльпан

«Автор»

2001

Крюкова Е. Н.

Железный Тюльпан / Е. Н. Крюкова — «Автор», 2001

Что это – странная игрушка, магический талисман, тайное оружие? Таинственный железный цветок – это все, что осталось у молоденькой дешевой московской проститутки Аллы Сычевой в память о прекрасной и страшной ночи с суперпопулярной эстрадной дивой Любой Башкирцевой. В ту ночь Люба, давно потерявшая счет любовникам и любовницам, подобрала Аллочку в привокзальном ресторане «Парадиз», накормила и привезла к себе, в роскошную квартиру в Раменском. И, натешившись девочкой, уснула, чтобы не проснуться уже никогда. Напуганная до смерти Алла бежит из дворца дивы, сжимая в кармане странный железный цветок. Кто убил звезду мирового масштаба, кумира миллионов? Продюсер звезды, Юрий Беловолк, не растерялся. Он смекает: Алла хорошо поет, у них с Любой похожи тембры голосов, мордашки, если выкрасить Аллины рыжие волосы в черный цвет – вот тебе и вторая Люба. Так новая Башкирцева появляется на эстраде. Никто ничего не подозревает. С Аллой занимаются тренеры, вокальные педагоги, визажисты, врачи. Новый Пигмалион доволен: Галатея почти похожа. Двойник удался на славу! А в ресторан «Парадиз» около Казанского вокзала вечерами все приходит молчаливый посетитель. Имени его никто не знает, зовут просто – Эмигрант. Это художник Канат Ахметов, вернувшийся в Москву из Америки. Он был на вершине славы – и очутился в пропасти забвения. Он пьет в ресторане водку, ест огуречный салат и бредит, вспоминая прошлое. Алла заходит в «Парадиз» иногда – ведь это был ресторанчик, где она начинала свою карьеру «легкой девочки», и ее здесь знали все официанты; сейчас ее никто ее не узнает – вернее, узнают знаменитую Любу. Она знакомится с Ахметовым. И оказывается у него в мастерской. И видит там картину – даже не картину, а ржавую оторванную створку двери гаража, на которой ножом процарапан огромный серебристый цветок – Железный Тюльпан... Что за тайна скрывается в цветке? Какую дверь – в прошлое или в будущее – откроет живущей не своей жизнью Алле Эмигрант?

© Крюкова Е. Н., 2001

© Автор, 2001

Содержание

.....	8
.....	18
.....	25
.....	28
.....	35
.....	41
.....	43
.....	51
Конец ознакомительного фрагмента.	

Елена Крюкова (Благова)

Железный тюльпан

Художнику Юрию Куперу посвящается

*Молча на острие меча смотрю.
Что я теперь заслужил?
Медленно стрекоза садится
На молнию лезвия.
Я – самурай.*

Бесе

*Ой, Казанская дорога,
Вся слезами залита...*

Частишка

*Рука вздрогнула. Рука вздрогнула и поползла по шелку одеяла.
Я открыла глаза. Я хорошо видела свою руку. Бледную, худую, с длинными и кривыми,
как у кошки, покрашенными ногтями. Моя рука сжимала холодное, тяжелое. Железное.*

*Я застонала. Перевернулась под одеялом с боку на спину. Рядом со мной на кровати,
развалившись поверх сползшего на пол одеяла, бесстыдно раскинув ноги, спала голая женщина.
Она, задрвав подбородок, храпела, в горле у нее булькало, как в кастрюле. Чужая женщина.
Я покрылась потом, вспомнив ночь. Крепче сжала ком стального холода в кулаке. Я боялась
разжать кулак. Боялась увидеть, что же я держу. Голая женщина, спавшая рядом со мной,
тихо застонала. Пот тек по моему лбу. Я все вспомнила. Закусила губу. Разожми руку, дура!
Ну же! Разожми!*

*Женщина, простонав еще раз, более длинно и тягуче, внезапно дернулась всем телом и
каменно застыла. Ее ступни странно вывернулись – пятками вперед. Я, дрожа, приподнялась
в постели на локте. Я поняла, почему она храпела и клокотала. На горле, сбоку от гортани,
у нее зияла маленькая сквозная ранка, будто от шила. Женщина была мертва.*

*Холод захлестнул меня волной. Я стала задыхаться. Вылезти из-под одеяла! Бежать!
Скорее! От замершей в ночи оргии, от пьяных спящих тел – они валяются на коврах там, в
других комнатах, в этом незнакомом богатом доме, где я... Где я – что?! А ничего. Беги, Алка.
Беги, пока ноги держат тебя. Бежать ты всегда умела быстро.*

*Я, с железным шаром в руке, выбросила ноги из-под одеяла. Я все еще боялась разжать
руку. Я все-таки разжала пальцы. Посмотрела.*

Бутон тюльпана. Выкованный из стали – из нержавеющей стали, что ли?.. – массивный цветок.

*Мне стало страшно. Я осторожно положила железный бутон на одеяло. Снова
посмотрела на нагую мертвую женщину. Секунду назад она еще была жива. У меня было
ощущение, что вся кровь вытекла из ранки в ее шею в перины постели. Я одевалась быстро,
судорожно, не отрывая от мертвой глаз. Одевшись, бессознательно протянула руку. Сунула
странную железную игрушку в карман пиджака. Белый пиджак, лацканы – в пролитом вине.
Красные разводы. Пятна. Будто кровь.*

Беги, Алка, а то скажут – ты ее убила.

*В овальном зеркале на стене мелькнули мои всклокоченные красные косы. Пусть все
летит к черту. Это не я. Я не...*

Каблуки сапожек из тонкой телячьей кожи процокали по гладкому паркету. Я пятилась к двери. Нашарила рукой ручку. Круглое, стальное над ладонью. Опять. Я толкнула плечом дверь. Прошла через огромную комнату, с картинами по стенам, с коврами на полу, огибая валявшихся на коврах – обнаженных, полудетых, сверкающих золотыми браслетами часов на запястьях, извергающих из храпящих ртов густой перегар. Только бы никто не проснулся.

Не проснулся никто. Задыхаясь, я с трудом открыла замок. Спустилась по лестнице. Господи, как хорошо, что в ворохе одежд я смогла разыскать свою короткую лисью шубку. Да, шубейка не фонтан. Лиса – это не богато, это не дорого. Роскошью от меня не несет за версту, это правда. Как я тут оказалась?! Что я тут делала?! Есть ли у меня с собой деньги... или я все просадила... вчера?!..

Я сунула руку в карман. В кулаке торчали мятые, скомканные баксы. Скорее отсюда. Скорее к себе в квартирку. В свою нищую халупу. Скорей!

– Такси!..

Машина мазнула около моих ног красным языком огня, пыхнула в лицо парами бензина.

– Куда, красотка?..

– В Столешников... быстрее!..

– Щас, на пожар, что ли... В Столешников из Раменок, пожалуйста, вмиг домчишься!.. если только за отдельную плату, рыжуся...

Небритый шоферюга подмигнул мне. Дверца хлопнула. Железный шар в кармане пиджака прожигал мне бок. Я вспомнила, что делала со мной ночью та, голая, мертвая, лежавшая на широкой, как лужайка, кровати там, в роскошной квартире, и меня замутило.



«Сначала надо полностью раздеться, потом надеть легкое шелковое спальное кимоно, которое служанка держит перед вами».

Из «Любовного Кодекса» госпожи Фудзивара

Окна привокзального ресторана ярко горели в сырой ноябрьской ночи. Холод пробирался под шубу. Девчонка засунула руки в рукава. Девчонка была рыжей, красно-рыжей – волосы огнем стояли над бледным лбом, над грубо размалеванными щеками. «Рыжая-бесстыжая», – прошептали на морозе ярко покрашенные губы. Накрасься хоть как индейский вождь, тебя все равно здесь никто не снимет. И ты не подцепишь никого, и не старайся. Сим-Сим снимет с тебя голову. Или скальп, что одно и то же.

Девчонка вынула руки из рукавов потрепанной лисьей шубейки и поднесла ко рту, погрела их дыханием. Странные перчатки, с обрезанными пальцами; продавщицы в таких продают овощи, чтоб удобнее было деньги на морозе считать. Голыми пальцами она чувствовала мороз. И деньги, как уличная торговка, – если, конечно, ей давали деньги. Она тут разжилась немного и купила себе с рук, у Толстой Аньки, лисью шубку вместо искусственной, облезлой – Аньке она все равно мала. Только бы не растолстеть. Мужики толстую не возьмут. Еще как возьмут, если шибко припрет! А если закурить?.. Она сунула руку в карман, вытащила початую пачку «Danhill». Щелкнула ногтем, выбила сигарету, подцепила зубами, ловко крутанула на морозе колесико зажигалки. Ну вот и дым, от дыма вроде теплее.

Она стояла, ежась под шубкой, на промозглом ноябрьском ветру перед белым, с расписанной красной краской башней, Казанским вокзалом, и, дымя сигаретой, смотрела на яркие окна привокзального ресторана. Если сейчас не обрыбится на улице – пойдет туда. Там тепло. Правда, сегодня дежурит Лешка. Он идиот. Ему надо обязательно отстегнуть не потом, а сразу. По крайней мере, она не застудит в черных ажурных колготках на морозе свои ноги, свои ножки, ноженьки, ножницами шелк-шелк, пахнет мясом, серый волк, пахнет алым мясом нагло разверстого, продажного бабьего чрева.

Она удачно просочилась мимо Лешки – он торчал при входе, но болтал с начальством, подобострастно изогнувшись, и она ловко кинула шубку на руку и живенько заскользила между столиков – подальше, подальше, вон туда, к стене. Там были свободные места за столиками. Алла Сычева. Так ее звали. Подружки частенько отчего-то называли ее – Джой. Костер ее начесанных волос горел зазывно, привлекая внимание издалека. На белой высокой шее, на бархотке, сияло дешевое посеребренное сердечко. Ногти были покрашены ярко-ало, как и губы. Иногда Лешка давал ей тут попеть, в ресторации. Она выходила, вертя задом, брала в руки микрофон. Оркестр уже хорошо знал ее репертуар. «Утомленное солнце нежно с морем... А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь... Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка да шарлатанка!..» Шарлатанка, издевательски таранился Лешка, да ты, оказывается, шарлатанка!.. вон отсюда... Она совала ему в потную, жирную руку двадцать баксов, заработанных за вокзальной стеной, в туалете, полчаса назад, и он отцеплялся, а Алла мысленно посылала его: пошел на хрен, халдей. Она уселась за столик, взяла для отвода глаз меню. Официанты знали ее, перемигивались: явилась охотница! Закажет что-нибудь сегодня? Не закажет? Кивком головы она подозвала халдея Витю, процедила: «Двести „саперави“... и чем закусить. Лучше сыр». Витя принес ей сыр, вино. Она, швырнув лисью шкуру на кресло рядом, тайком, из-под густо покрашенных ресниц, огляделась. Ресторан гудел. Время было позднее. Транзитникам некуда девать время и деньги. Богатым транзитникам, разумеется. Алла покосилась. За соседним столиком сидела интересная пара, ужинала; мужчина энергично работал челюстями, изредка кидая слова, как

кости, женщина хохотала, поднимая кверху лицо, взбрасывая к щекам маленькие загорелые ручки. Женщина была изящна, как японская статуэточка, ее короткая стрижка напоминала женскую стрижку двадцатых годов прошлого века. Она вся была «ретро». Брюнетка, и круто завитые локоны будто прилипли к впалым щекам. Глаза блестят, подведенные черным карандашом. Ей не хватало шляпки с вуалькой – ей бы очень пошло. Время от времени женщина подносила к маленьким капризным губкам мундштук с горящей сигаретой, втягивала пахучий дым. Алла проследила за ее взглядом. Она не смотрела на собеседника, громко чавкающего над тарелкой солянки. Она смотрела в окно.

– Смотри, Юрочка, – протянула она чуть в нос, и Алла услышала, какой у нее звучный голос. – Смотри, что написано на стекле! «Esidarap»...

– «Paradise», Люба, дура, – беззлобно бормотнул ее спутник, уписывая за обе щеки солянку. – Я, черт, так умаялся в этом чертовом Питере!.. в этом чертовом твоём допотопном поезде... и зачем было трястись в СВ, есть же удобный поезд скоростной, сидячий, три часа – и мы дома...

– Я хотела, Юрочка, снова кожей ощутить Россию и ее поезда, – томно пропела женщина, и снова Алла поразились музыке, прозвеневшей в низком, чуть хриплом голосе. – Я хотела... если б ты позволил мне, мой жестокий импресарио, я бы поехала из Питера в Москву в плацкартном вагоне!..

– Люба, ты ненормальная. Впрочем, артисты все ненормальные. Иначе быть не может. – Мужчина щелчком пальцев подозвал официанта. – Второе несите! И чтобы горячее было! Холодное принесете – в морду вывалю!

– Как ты груб, Юра. – Женщина зябко повела плечами под сильно открытым, с блестками, платьем, туго обтягивавшем ее грациозную фигурку. – И в этом тоже вся Россия.

– Да, и в этом вся Россия, – холодно кивнул он, утирая салфеткой рот, ковыряя в зубах зубочисткой. – Выпьем еще?..

– Выпьем. Хорошее вино. Я всегда любила «тибаани». Оно похоже на топаз.

Мужчина разлил вино по бокалам. Женщина подняла бокал, поглядела вино на просвет.

– «Парадиз», значит. – Она отпила из бокала. – «Парадиз», вашу мать. Превратили страну в сплошной бордель! И думают, что ошастливили. Трясут то одной хоругвью, то другой... великой Россией трясут!.. и ни в одном глазу...

– Тобой тоже трясут, Люба. – Мужчина вызволил бокалом о бокал. – Ты же устала от того, что тобой трясут? Или тебе это нравится?

– Не ври, Юра. Трясешь мной ты. И нравится это тебе. Потому что ты натрясаешь с меня немеряные бабки. Кто это за столом напротив?.. какая классная рыжая девочка...

– Прекрати, Люба. Ты опять за свое.

Мужчина поморщился, а изящная черненькая женщина уже не сводила с Аллы глаз, искусно подведенных к вискам. «Под японку работает», – подумала Алла, а стильная женщина внезапно потянулась всем телом хищно, как пантера, и обожгла Аллу таким откровенно-застывшим взглядом, что Алла чуть не присвистнула: во дает, будто мужика арканит! Перегнувшись через спинку ресторанного кресла, брюнетка прошептала:

– Пересядь к нам, дорогая. Ты мне нравишься. – Алла хотела было усмехнуться: а вы мне не слишком!.. – как брюнетка сложила ротик сердечком, почти таким же, как дешевое серебряное сердечко на Аллиной шее, и вполголоса мурлыкнула: – Я Люба Башкирцева, не узнала?

«Башкирцева, Башкирцева. Так это Башкирцева», – шептали Аллины губы, а Аллины руки уже подхватывали со стула шубку, а Аллины ноги уже шагнули к соседнему столу. Люба Башкирцева. Ах, шарабан мой, американка. Американка Люба, эстрадная дива. Поговаривали, она вернулась в Россию. Черт их знает, VIP-персон, у них один дом во Флориде, другой в

Риме, третий на Каширском шоссе. И вилла на Багамах. Спокойно, Алка, спокойно! Как же ты любишь ее песни! Ты же сама поешь ее песни! Ты... неужели это шанс. Это твой шанс, Алка!

Алла села за стол. Положила ногу на ногу. Под ажурным чулком блеснула белая кожа колена. Люба, не скрываясь, плотоядно глядела на Аллину коленку под узорами ажюра. Алле не нравился такой взгляд.

– Алла, – сказала Алла сухими губами.

Башкирцева уже неприкрыто пожирала ее глазами. Алла чувствовала себя костью, которую обглаживают. Ей стало смешно, как от щекотки, и в то же время этот взгляд странно волновал ее. Она в своей маленькой жизни была только с мужиками и с парнями. Про таких оторв, как Люба, она только слышала от Инны Серебро, от Толстой Аньки. Инна хвасталась, порола чушь. Алла хохотала. Они обе пили водку на морозе из горла, и Серебро тянула к ней розовые искусанные губы. «Пошла вон, сучка!» – весело кричала Алла и отталкивала пьяную Инну. Мужчина больно наступил под столом на ногу Башкирцевой, и она взвизгнула.

– Пошел к черту, Беловолк, – кинула певица надменно. – Ты чем занимаешься в жизни, Аллочка-ласточка?.. Я вот концерты в Питере спела. Пять концертов. Бабки заколотила. А ты что делаешь?.. Ничего?..

– Я проститутка, – хрипло сказала Алла и улыбнулась. Башкирцева вздернула плечи. Поправила пальчиками черный завиток на скуле.

– И много зарабатываешь?.. В Нью-Йорке, – она обернулась к Беловолку, – хорошенькая ночная бабочка гребет будь здоров, если хорошо отстегивает копам или шерифу.

Беловолк внимательно посмотрел на нее. Он знал, что первые годы в Америке Люба пела в ресторанах и не гнушалась подрабатывать там древним ремеслом.

– Не особенно много. Так... на жизнь хватает, – пожалала плечами Алла. Ей вдруг стало грустно. Захотелось встать и уйти. Люба пригвоздила ее глазами к стулу.

– И то славно. – Перламутровые зубы блеснули между приоткрытыми в легкой, чуть хищной улыбке губами. – Поехали со мной ко мне? Я снимаю обалденную хату в Раменках. Отдохнем по полной, – она усмехнулась, – программе. Юрочка, – обернулась она к продюсеру, – девочка поедет с нами! И не спорь! Мои, кто у меня на бэк-вокале, вон жрут там, за тем столиком, – она кивнула головой. – У, скоты!.. в вагоне-ресторане сидели всю ночь, пивом пропитались, как губки... классные негрятки?.. Тебе нравятся темненькие, малышка?..

Она уже мурлыкала. Она уже называла Аллу «малышкой». Она уже раздевала ее глазами. Люба Башкирцева, гори все синим пламенем, великая Люба. Алла вспомнила ее концерт почти год назад, в Рождество, по телевизору, она сидела в каморке у Серебро, грызла козинаки, Серебро шипела: «Жевалки испортишь!» – по экрану телевизора ходили цветные полосы, сквозь мелькания мерцала тоненькая фигурка Любы, она качалась на высоких, как ходули, каблуках и пела свой вечный «Шарабан», а Алла подпевала ей, заплетая мокрую рыжую косу – она вымыла голову не шампунем, а сырым яйцом, для пушей пользы. «Во живут звезды!.. – вздыхала Инна. – Едят икру, водку пьют из хрустала!..» Вот и она сидит за одним столом с звездой. И сейчас поедет к ней домой. И что будет у нее дома?!

– Твое вино, Аллонька, и сыр, – Витя вежливо наклонился, поставил на стол тарелку с сыром и бокал. Алле захотелось выплеснуть «саперави» ему в лицо. Ее нищая закуска – рядом с горками красной и осетровой икры в вазочках, рядом со светящимися на просвет кусочками семги, с дымящимися шницелями, с золотящимися апельсинами и розовым виноградом «дамские пальчики». Успех измеряется роскошеством еды?! Да, и этим тоже.

– Ты с ним в паре?.. – Башкирцева хитро сморщилась. – Он пасет тебя?

– Виктор мой друг.

– Ешь. – Люба подвинула ей блюдо с горячим шницелем. – Тебе надо подкрепиться. По улицам работаешь?.. По ресторанам?..

«Хожу по ресторанам и шарю по карманам», – вспомнила Алла песенку Чарли Чаплина, песенку двадцатых годов, тоже из ретро-репертуара Башкирцевой. Люба взмахнула рукой, посылая мулатам и негротяночкам, работающим у нее на подтанцовках, что ужинали за столиком поодаль, воздушный поцелуй. Вскочила, едва Алла затолкала в рот последний кусок шницеля. Стоя отхлебнула заказанного Аллой «саперави». Почмокала губами.

– А ты знаешь толк в винах, крошка. Юра, зови ниггеров! Едем! Виталик прислал за мной две машины, они уже давно стоят на площади. Шоферы знают, что я люблю посидеть в ресторане, что, если я голодна, я до дома не дотяну. Шубка твоя? – Люба презрительно подхватила Аллину шкурку. – Я тебе новую куплю.

Она чиркнула горящим взглядом по Аллиному лицу. Щеки Аллы вспыхнули и стали такого цвета, как волосы.

У Алки Сычевой был сутенер. Его звали Сим-Сим. По-настоящему его имя было Семен Гарькавый, но все телки звали его Сим-Сим. Так уж повелось.

В ресторане около Казанского Сим-Сим время от времени вылавливал себе новых девочек. Он поселял их в коммуналках вокруг площади Трех Вокзалов, снимая им комнатенки по дешевке. Он и Аллу выловил около вокзала. Алла тогда была Сычихой-с-платформы. Ее трепали за копейку. Ее рыжие волосы горели зимой, под падающим снегом, факелом – у нее не было зимней шапки. Московские зимы мягкие, думала она, девчонка из-под Красноярска, со станции Козулька, чепуха одна московские зимы. Она как приехала из Красноярска на Ярославский, так тут и осталась, на Площади. Сычиха всегда страшно хотела есть, торчала возле ресторана, жадно глядела в светящиеся окна, читала на окнах красные надписи на иностранных языках. Она видела – за стеклом стол, за столом человек. Человек сидит и сумрачно смотрит на нее. У человека тяжелый взгляд, раскосые глаза. Он одет в плохую одежду, как у нищего. Как пустили нищего в ресторан? Он ест хлеб и салат. На столе в графине – водка. Алла пристально глядит на него через мутное стекло. Человек глядит на нее. Хозяин ресторана благосклонен к человеку в затрапезке: он берет вино, много пьет, никогда не напивается, не буянит. Сычиха стоит и глядит, он глядит на нее и ест. Наливает водки из графина. Она ждет, что он сделает пригласительный жест рукой: иди сюда, я тебя угощу. Вместо ожидаемого жеста за стеклом на ее плечо ложится тяжелая рука. Это Сим-Сим. Он изловил ее. Она еще не знает, что это Сим-Сим. Что она попалась. Она цедит сквозь зубы: пошел вон, мразь, – и получает несильный, но отвратительно-унизительный удар по губам. «Еще раз так скажешь – выбью все зубы», – ослепительно, обещающе улыбается он. У него сальные темные волосы свисают на лоб, синяя щетина обнимает упитанные щеки.

Он тоже обедает время от времени в вокзальном ресторане. У него есть деньги. Он сутенер. У него тяжелая жизнь.

Стекло. Их разделяет только стекло. И на прозрачном стекле – ярко-алые, красные буквы. Буквы европейские, латиница, а ему кажется, это иероглифы.

Налить водки в стакан. Выпить. Он вливает водку в себя, как горючее в топку. Это его единственное топливо, что у него осталось. Если он не будет вплескивать в себя горючее, он загремит на тот свет. Скажи, тебе хочется туда? Тебе туда надо?

Вилка с нанизанным на зубья салатом дрожит в руке. Он видит свое зыбкое отражение в стекле. Он видит свои сощуренные раскосые глаза. О нем тут шепчут завсегда: да, он был знаменитым художником, он уезжал из России в Нью-Йорк, да, он был другом Саши Глезера, другом Володи Овчинникова... он был страшно знаменитым, ты, стервятник, не трожь его, он жил в Америке... «Он жил в Америке». Как шифр. Как код. Он закодирован. Его никто не тронет. Его никто не вскрыет, как сейф. Внутри – ни бакса. О да, ребята, он был богат!..

и потом враз разорился... и в трюме корабля, даже не на самолете, вернулся в Европу... и потом в Москву... и – бомжует...

Его здесь зовут просто Эмигрант. Никто не помнит, что его звали – Канат Ахметов. Он ест салат. Он пьет водку, похожую на слезу. Он сам себя не помнит.

На квартиру Любы в Раменках все приехали на двух машинах, набитых битком, под завязку, как только не остановили, не оштрафовали.

Много вина. Батареи бутылей на широких, как льдины, столах. На большом серебряном блюде – черносливы. «Это иранский чернослив, ешь, хочешь, я очищу тебе киви?..» Ей – уличной девке – выкормышу Сим-Сима – сама Люба Башкирцева – звезда – очистит пушистый киви. Люба кладет перед Аллой длинный, изогнутый серпом банан, по бокам – два киви, смеется. Ее смех чуть хриплый, как и ее голос. От ее голоса, от вина у Аллы звенит в голове, слабеют ноги. «Не надо много пить, не пей вина, Гертруда», – шепчет она себе, беспомощно улыбается, Люба кладет ей в рот очищенный банан и снова беззвучно смеется. Те, черненькие, что у нее на бэк-вокале, что ели за столом поодаль в привокзальном «Парадизе», уже сидят друг у друга на коленях, лопочут по-английски. Черт, черт, когда-нибудь надо выучить иностранный язык, буду кадрить иноземных парней, купаться в баксах.

«O, my love, you are a funny girl!..» Сначала гул, звон. Потом – тишина. В тишине ловкие чужие пальцы тянут вниз с плеч бретельки лифчика, ткань платья, и плечам становится холодно, как на морозе. Поцелуи похожи на снежинки. О да, это падает снег, мелкий и острый, он обжигает кожу, он проникает в кровь, он сыплется на открытую рану рта, как соль, и это очень больно.

Это была не ночь. Это прошло сто ночей. Падая в черный омут, она думала: лучше вколоть в себя наркоту, чем вот так. Как?! Ей показывали, как, и она повторяла. К ее губам придвигался край чашки, и она пила. Люба налила вина в фарфоровую чашку, поставила ее на зеркальный столик. Время от времени горячее тело рядом с ней засыпало, вздрагивало во сне, и Алла с облегчением вытягивалась на крахмальных простынях: Господи, все!.. – но жаркая плоть оживала через миг, и все начиналось сначала.

Изгибался коромыслом хребет. Распахивались, как лепестки цветка, колени. А может, все было проще, грубее. Просто два потных горячих женских тела сплетались и расплетались на кровати. О нет, все было не так просто. Когда нагие пальцы погружались в костер жадного рта, она кричала, продлевая счастье ожога. Во тьме над головой той, что ее целовала, вставало сияние. А может, это горел фонарь за окном в ноябрьской тьме.

Алла проснулась оттого, что ее рука, протягиваясь по одеялу, нащупала и сжала что-то странно-тяжелое, дико-холодное. Круглое, с режущими ладонь выпуклостями рельефа. Сначала она подумала: брелок для ключей! Для брелока металлический шар был слишком велик. Алла помотала головой, просыпаясь, и поглядела на Любу. Люба спала поверх одеяла, раскинувшись, будто царица в будуаре. Алла повела глазами вбок. И правда, у Башкирцевой не хуже, чем в Эрмитаже. Это ж надо так хату антикваром набить. Не спальня, а просто Малахитовый зал. По стенам перламутр, на столешницах инкрустации, по углам – японские и китайские вазы с росписями тонкой кисточкой – закачаешься, – белье... Алла сглотнула. На таком кружевном белье можно бы переспать не то что с Любой – с макакой резус. Голландские кружева?.. Бельгийские?..

Она поняла, что Люба убита, и стала судорожно одеваться. Она засунула странный железный цветок в карман пиджака. Дрожа, зачем-то затолкала в сумочку журнал, валявшийся на инкрустированном столике. Она не сознавала, что делала.

Мимо всех спящих. Мимо кровати с мертвым телом, что недавно обнимало и жгло. Мимо рассыпанных по дивану долларов – у кого-то выпали из кармана. Мимо чужих жизней. Это не твои жизни, Алла. И никогда не станут твоими.

Вон отсюда. Я никого из них никогда больше не увижу. И Любу. Эту мертвую Любу. Башкирцеву – убили?!

Дьявол. Мать-перемать. Башкирцеву – убили. Или это мне приснилось?!

Снег бил ей в лицо. Сырой, тяжелый снег. Он слипался, еще падая, в воздухе над ней. Она бежала по Москве, как оглашенная. Подворачивала ноги, падала. Разбила колено. Через ажур чулка сочилась кровь. Ноги мерзли в сапожках из телячьей кожи. К кому?! К Сим-Симу?! Ты идиотка. Нашла к кому бежать. Сим-Сим тебя разгрызет как орех. У тебя для него ни копыя! Он задушит тебя. У тебя месячная норма, и ты ее еще не выработала. К Аньке?! К Серебро?! Пошли они в задницу. Куда она летит сломя голову?! В метро на нее глядели как на умалишенную. Впрочем, мало ли по Москве рано утром возвращается девок с гулянок. Ишь, глазки-то опухли, бурная была ноченька.

Она осознала, что вышла на «Комсомольской» и бежит к Казанскому вокзалу, к ресторану «Парадиз», когда уже подбегала к обледенелому, засыпанному снегом ресторанному порогу.

Родной дом, что, это для нее. Почему ты не побежала домой, Сычиха?! У тебя же есть дом. Тебе же надо сейчас побыть одной. Одной.

Она осмотрела себя, внезапно вздрогнув. Нет, крови на одежде нет. Она не выпачкалась в Любиной крови. В крови звезды. Говрят, у царей кровь голубая. Враки, она у всех краснее помидора. Коктейль «Кровавая Мэри». Сейчас она ввалится в «Парадиз» и закажет Витьке «Кровавую Мэри». А может, Витя сегодня не в ночную, дрыхнет он дома без задних пяток. Как ее трясет. Хорошая доза водочки не помешает. Сумка с собой?!.. Какое счастье, что она не потеряла ее в метро.

В ресторане в утренний час было пустынно. Алла нетвердой походкой прошла к столику. Вскинула глаза. На миг ей показалось – там, в углу, сидит он. Тот нищий, что всегда пил водку из графина и ел салат перед окном с красной надписью. Нет, никого не было в углу. Пустой стол. Она уже бредит. Интересно, были сумасшедшие у нее в роду?.. Может, все это ей тоже привиделось – Люба с проткнутым горлом, ночная попойка, извивающиеся голые мулатки, давящие пятками рассыпанные по полу киви и чернослив?.. Сойти бы с ума от жизни такой, посадили бы в психушку. Там бы кормили, поили с ложечки... Там бы тебя били смертным боем, дура, пока не убили бы. Транквилизаторами закололи.

Алла села за стол. Ее руки дрожали, когда она вынимала кошелек. Она забыла, сколько у нее с собой денег. Она должна в ноябре Сим-Симу... сколько?.. Сто?.. Двести?..

Мужской ботинок рядом с ее телячьим сапожком. Ножки стула с режущим скрипом царапали паркет.

– Ну-с так. Выпить и закусить, значит. Быстро умеешь бегать, стерва.

Этот Любин то ли продюсер, то ли секретарь, Алла так и не поняла, кто он на самом деле при ней был, сидел за столом напротив нее, ухмылялся. У нее задрожала нижняя губа. Усилием воли она заставила себя улыбнуться, пьяно, разнузданно повести плечом:

– Уме-е-ею. Ну и что. Ты тоже быстро бегаешь, если догнал.

– Я следил за тобой. Я следил за вами обеими. И когда она утащила тебя в спальню – тоже следил. Орешь ты здорово. Голос у тебя тоже будь здоров. Я следил за тобой, когда ты, стерва, сбежала утром. Я мигом оделся и пошел за тобой. Я выследил тебя.

Алла изо всех сил унимала прыгающие губы. Жаль, накраситься не успела. Бледность, проклятье, выдает ее страх.

– Значит, ты совсем не спал ночью, котик. Тебе поспать бы.

– Не смотри на меня блядским взглядом! – крикнул он. Опомнился. Понизил голос. – Я не котик. И ты не киска. Оставь свой подворотный жаргон. Мы не в туалете. Мы...

Она рванулась – встать и убежать. Он схватил ее за короткую юбку. Шелк хрустнул по шву.

– Мы в ресторане, шлюха, – тихо и отчетливо сказал он. – Там, где мы познакомились, к несчастью. Это твоя епархия, я понял. Я Любин продюсер. Я сделал ей имя в Америке. Я сделал ей имя везде. Во всем мире. Я вытащил ее из грязи. Она пела в занюханном ресторанишке в Чайна-тауне... в таком же, как этот. – Беловолк брезгливо сморщился, поджал губу, стал похож на козла. – Я поднял ее от ресторана до Карнеги-холла. Она так и ползала бы там по заплыванной дощатой сцене, до и после варьете, тискалась бы в углах с ниггерами, если бы не я. А я сяду в кабриолет, понятно?!.. – Он вытер пот со лба. Ему было жарко. Алле было холодно. Она сидела за столом в шубке, колени ее подскакивали к подбородку, а ей казалось – она голая на снегу. – Я выследил тебя, дрянь! А теперь смотри сюда!

Он вынул из кармана фотографию. Положил на стол. Алла скосила глаз.

– Смотри, смотри! Тарашься! Вылупляй зенки! Сечешь поляну?!

– Кто... это?..

Она испугалась. Она говорила себе: это неправда, неправда, я не боюсь, это не я, он не мог нигде меня раньше видеть, он не мог меня снять. На фотографии была она. Она, Алка Сычева, Сычиха, рыжая Джой с Площади Трех Вокзалов. Густые рыжие патлы. Нос, рот... взгляд... А наряд-то какой! У нее отродясь не было таких! Длинное, эстрадное платье, в пол, с блестками, с обалденным разрезом по боку, вдоль голени и бедра – до ягодицы... Наглое декольте... Алмазы сверкают на груди – в кадре выблиснули красным... Алла зажала рот рукой.

– Это... я?!..

– Нет, голубушка, это Любка Фейгельман, Нью-Йорк, Чайна-таун, вшивый ночной бар «Ливия», дерьмовый тот ресторанишко, где я ее подобрал, еще до того, как она стала Любой Башкирцевой. Поняла? – Беловолк спрятал фотографию в нагрудный карман. – Я убрал труп. Трупа нет. Нет и не было. Никто не должен знать, что она умерла.

Она сама не знала, как у нее вырвался этот крик:

– Это ты убил ее!

Крикнула и напугалась. Зажала рот ладошкой. Так сидела, сгорбившись. Заспанный утренний официант – не Витя, из новеньких, томно-нагловатый, она забыла его имя, – подошел к их столу вразвалку.

– Господа что закажут?.. Кофе будете?..

– Кофе, – скривил губы Беловолк. – В Грузии после попойки едят горячее хаши с аджикой и запивают стаканом водки. Два кофе. Два бутерброда с осетриной. Сто коньяка... французский есть?.. Заткнись, шлюха, – наклонился он к ней, когда официант, зевнув, отшагнул во тьму плохо освещенного зала. – Это ты убила ее!

– Это мы, – зло усмехнулась Алла, – выходит так, убили ее. Не пори швы грубо, мальчик.

– Я тебе не мальчик, а господин Беловолк. Изволь называть меня на «вы», подзаборница. Я в два счета докажу следствию, что это ты убила ее.

Алле стало по-настоящему страшно. Ледяной пот пополз у нее между лопаток.

– Я не подзаборница. Не смейте со мной так.

– Не смей-те, уже хорошо. Ты в моих руках, маленькая сучка. Фотографию видела? – Он щелкнул пальцем по цветному квадрату на столе. – Ты сообразительная или тебе объяснить?

– Объяснить, – сказала Алла, облизывая губы. Ей смертельно хотелось пить. Чего угодно: кофе, соку, холодной воды, молока. Она выпила бы воды даже из затхлой дождевой бочки. Даже из лужи. Все лужи подмерзли. Ноябрь. Скоро Новый год. Она вляпалась в историю. В нехорошую историю. Теперь этот дядька сомнет ее в комок. Этот будет почище Сим-Сима.

Сим-Сим в сравнении с ним – ангел Божий. И ты не убежишь. И ты не отмажешься – у тебя денег нет. Ты применишь правила его игры.

– Дура, – холодно сказал Юрий Беловолк и поджал тонкие жестокие губы. – Другая бы давно догадалась. Я сделаю из тебя Любу. Ты станешь Любой Башкирцевой. Никто не узнает. Никогда. Мне повезло. Вы колоссально похожи. Как сестры. Ну, бывают люди-двойники. Двойники-Ленины, двойники-Гитлеры, двойники-Софи Лорен. Ты одно лицо с Любой Башкирцевой. Игра природы-матери. Мне повезло. Игра! – Он вытащил из кармана сигареты, закурил. Дым обволок изумленное лицо Аллы. – Тебе не выйти из игры. Ты играешь со мной. Я хороший игрок. Ты не соскучишься.

Он подмигнул Алле, и это было ужасно. Он выпускал дым изо рта, как конь – пар из ноздрей на морозе. Официант брякнул на стол с подноса две чашечки кофе «капучино», бутерброды с рыбой, украшенные повялой петрушкой. Она бессознательно взяла бутерброд, откусила кусок. Отхлебнула горячий кофе, обожглась.

– Но я же... не умею петь!.. Я же... не певица...

– Не умеешь – научим. Не хочешь – заставим.

Она протянула руку. Он понял, вложил ей в пальцы сигарету. Поднес огонь зажигалки прямо к ее лицу, чуть не обжег ей нос. Она отпрянула. Затянулась глубоко. Вот сейчас он спросит про тот странный железный цветок, про стальной тюльпан, что оттягивает ей карман ее белого пиджака – не от Версаче, от Тома Клайма, ну и наплевать.

– Жаль, наших русских девушек в армию не берут. А пора бы уже. Эпоха войн настала. Вон в Израиле девицы армию нюхают. И знают хорошо, что почем. Если ты откажешься, я сдам себя. Я скажу, что это ты убила ее. Я докажу. Ты не отвертись. Я покажу, что ты провела с ней ночь, а потом, когда она уснула, убила ее. И все покажут. Выбирай. Жизнь за решеткой или жизнь Любы Башкирцевой. На войне как на войне.

Они оба курили. Теперь молча. Настало дикое, долгое молчание, будто они сидели одни в купе, тряслись в поезде, а поезд шел мимо горящих деревень и разрушенных городов, мимо пожарищ.

И это тоже шанс. Это тоже шанс, чтоб не сдохнуть под забором.

Или тебе нравится жизнь под Сим-Симом?!

Ты будешь звездой, Алла. Ты будешь звездой. Каково это – быть звездой? Светить?! Сиять?! Только бабки, что ты будешь зашибать на сцене, будут не твои. Ты будешь живой муляж. Подсадная утка. Настоящую утку убили. И охотники будут охотиться на подсадную. Если ее убили, а она ожила, ты дура, кумекай, значит, будут охотиться... на тебя?!

Аплодисменты. Бутерброды с черной икрой. Алмазы на шее. Отели в столицах. Баксы. Шуршание баксов. Перетекание баксов из бумажника в бумажник. Сладкие улыбки. Студии звукозаписи, кассеты, лазерные диски, реклама, афиши, статьи. Башкирцева бессмертна. Ты бессмертна. Тебе тоже что-то да перепадет. Ты будешь пристроена. Ты не пропадешь. Гляди, какой он вальяжный, холеный, этот Беловолк. Он умеет делать делишки, какие тебе и не снились; ты даже в книжках о таких не читала. И вот он напротив тебя за столом, и он взял тебя, он купил тебя страхом. Он заплатил за тебя много страха. Убьют?! Эх чем испугали. А на платформе Казанского, ночью, на пятнадцатом пути, в голутвинской электричке, тебя не убьют?!

На скулах Аллы проступил клубничный румянец. Она заправила за ухо рыжую прядь.

– Я согласна. Мне ехать с тобой... с вами... или я буду жить у себя?..

– Ни у тебя, ни у меня. Забудь все лишнее. Ты будешь жить *у себя*, Люба Башкирцева, – смотря ей прямо в лицо прищуренными, длинными, как у египтянина, холодными глазами, вычеканил он.

Моя коммуналка в Столешниковом переулке. Я появилась ненадолго, прости. Я уже не я. Меня поймали. Меня поймали и связали мне крылья. И теперь будут их красить в новый

цвет. Люба же была черненькая. Черная Люба! Рыжая Джой! Что бы Инна Серебро сказала на это?! Серебро не узнает. Она и Анька, Толстая Акваинта, будут теперь глядеть меня по ящику и думать: вот распинается на сцене Люба Башикицева, ну и репертуарчик у нее стал, одно дерьмо. Голос! Петь! Я же не умею петь!

Моя комната. И еще одиннадцать комнат по коридору. Мои соседи. Я их больше не увижу. Неизвестно теперь, что со мной будет. Меня ждет иная жизнь.

Зачем я сюда пришла? Беловолк в машине ждет меня внизу. Он припарковался около магазина «Восточные сладости», хоть там и нет стоянки. Беловолку все можно. Он держит себя владыкой Москвы. Западная шишка, янки-обезьянки, сволочь, сделал на Любе состояние. Он убил?! Он не мог убить. Он не мог убить источник денег. Это было бы самоубийство. Что мне взять из дому? Разве этой мой дом? Это халупа, которую снял мне Сим-Сим за копейки. За ту же сотню «зеленых», что я вынимаю ему из лифчика с матюгом-шепотком.

Я сунула в сумку кружевную французскую комбинашку, висевшую на спинке рассохшегося венского стула. Огляделась. Сунула руку в карман. Тюльпан. Он был там. Никто не вытащил его. Странная, дикая вещь. Будто из земли выкопанная, пахнет древностью. Такие вещицы находят на раскопках, да эта уж больно новехонькая, ясно, сделанная недавно. Для чего она? Украшение? Нигде не видно ни дырки для бечевы илищепочки, ни крючочка, ни скобы: к чему его прикреплять, где носить? Ну что, комбинация, лифчик, трусики, помада... прокладки «Always» не забыла, профессионалка?.. Нет у меня ничего. Нет и не было. Не нажила еще. Какие мои годы.

Я стрельнула глазами в запотевшее окно – и быстро обернулась на скрип двери. Я думала, это Беловолк устал ждать меня в машине. А это был Сим-Сим.

Синяя щетина на его щеках мрачнела, как грозовая туча. Он разжал губы и проговорил, не разжимая зубов:

– Привет-привет, крошка. Трудно тебя застукать дома. Много работаешь?

– Много-много, – сказала я наигранно-весело, ему в тон. – Отбоя от клиентов нет.

Если он сейчас будет задерживать меня и трясти, как грушу – сюда поднимется и продюсер. Что будет дальше, я плохо представляла. Может, вежливый разговор. А может...

– Гоня процент, – Сим-Сим протянул заскорузлую, казалось, вечно немывтую ладонь. – Если ты в шоколаде – поделись шоколадом. Живо! Я жду.

Он никогда не умел ждать. Если я промедлю сейчас – он размахнется и ударит меня по лицу. Меня так часто били по лицу. Неужели меня когда-нибудь не будут больше бить по лицу? Никогда?!

Что надо девке для оборотистой улыбки? Жемчужные зубки, алые губки, кончик язычка дрожит между зубов, глаза блестят, шепчут: я вся твоя. Я улыбнулась Сим-Симу так оборотисто, как только могла. И он дрогнул. Он не занес руку над моим лицом.

– Клиент внизу, Сим-Сим, – доверительно шепнула я. – Клиент внизу, в машине, у подъезда. Богатенький Буратино, между прочим. И очень. Я ни разу таких не отлавливала. Если ты испортишь мне морду – пеняй на себя. Мы упустим крупную рыбу. Синего тунца. Синий тунец, знаешь, очень вкусный. Сейчас я не дам тебе денег, Сим-Сим. – Я вцепилась рукой в юбку и потянула вверх, обнажая бедро в черных ажурных колготках. – Не сейчас. Позже. Дай мне поработать. Не калечь меня. Не сбивай меня с настроения. – Я выдохнула ему в лицо ночной винный перегар, запах дорогого табака. – Я приеду с дела и позволю тебе на сотовый. Идет?

Он готов был сожрать меня глазами. Его жирные щетинистые щеки затряслись, как ступень. Ненавидяще проткнули меня колючие зрачки.

– Ты, – выдохнул он и поправил под кожаной курткой галстук, сдавивший горло. – Вывернешься, как уж, из – под любого сапога. Не врешь?

– Спустимся вместе, – кивнула я на дверь. – Посмотришь, как я сажусь в черный «кадиллак». Только номер не запоминай, ладно?

Как же я ненавижу твою синюю щетину. И все же я тебе обязана. Ты спас меня от голодной смерти. Ты научил меня торговать собой. Все на свете товар. Все продается и покупается. И живот и груди. И любовь и голос. И земля на Ваганьковском кладбище. И Карнеги-холл для концерта новой Любы Башкирцевой. Обновленной. Клонированной. Возрожденной Господом Богом после удара шилом или спицей в нежное горло, в певческое птичье горлышко, спевшее людям столько песен про Бога и любовь.

••• ••• •••

«Если вы думаете, что вы не можете быть счастливы в браке, вы глубоко ошибаетесь; все несчастья супругов – от отсутствия смелости. Летите!»

М. Роуз, И. Сведенборг. «Трактат о семье». Бостон, 1999

У погибшей Любы Башкирцевой был когда-то муж; замечательный муж; заметный издали муж. Главу концерна «Драгинвестметалл» Евгения Лисовского знали все в России, о Москве и говорить нечего. Евгений Лисовский погиб год назад в Москве при обстоятельствах, оставшихся невыясненными. Любочка была на гастролях во Франции, в Париже, когда Лисовскому перерезали горло. Алла не знала подробностей, смутно что-то помнила из газет.

Беловолк привез ее в Раменки, в квартиру Любы. Он окликал ее: «Люба!» Когда она не поворачивалась – бил ее наотмашь по щеке. «Ты выбьешь мне зубы», – зло шипела она. «Новые вставлю», – шипел в ответ он. Дома уже ждала их странная, сухая, как высохший в коллекции богомол, серая как вошь женщина, с впалым ртом, как у старухи, а сама еще не старая, стриженная «под горшок», с амазонитовыми, ярко-зелеными сережками в отвислых мочках. Женщина тут же взяла Аллу в оборот. Одна из комнат в двенадцатикомнатной квартире была отведена под тренажерный зал. «Для начала сгоним лишние жиры, – процедил Беловолк, ущипывая Аллу за крепкую ягодицу, – есть, есть жирок, нагуляла на проститутских харчах. Посади ее на молочную диету. Салаты. Питье без сахара. Вместо хлеба – хрустящие хлебцы. Ничего не жрать после шести вечера. Замечу – убью!»

И началось. Это все началось. Алла думала – ничего страшного, ну, постригут ее, ну, покрасят «Лондаколором»... Это все началось так бурно, неистово и дико, что она думала – нет, лучше умереть. Пусть он лучше меня действительно убьет, этот полоумный продюсер, делатель двойников.

Дама, Изабелла Васильевна, истязала ее по-средневековому. Выкручивала ей ноги-руки на шведской стенке. Заставляла отжиматься по двадцать, по тридцать, по сорок раз. Когда Алла кричала: «Не могу!» – и падала на черный мат, обливаясь потом, заливаясь слезами, Изабелла Васильевна подходила к ней, трогала ее носком туфои и роняла: «Отдых пять минут. И сначала». «Эсэсовка», – шептала Алла полумертвыми губами. Ее щеки вваливались, глаза становились большими, мрачными, как у святой мученицы. Изабелла Васильевна регулярно, через каждые три дня, взвешивала ее на напольных весах. «Минус три килограмма, – бормотала она довольно, – минус четыре. Превосходно. Ты чуть повыше ростом, чем Люба. Поэтому тебе надо сбрасывать больше. Ты топорная. У тебя широкие бедра. Люба была – само изящество. А рожи у вас похожи». «Когда займутся моим имиджем?» – мрачно спрашивала Алла. «Заткнись, – отвечала тренерша, – не твое дело. Твое дело – слушаться меня. Мое дело – сделать тебе Любину фигуру. И в короткий срок. Ты уже занималась с педагогом-вокалистом?»

Вокальный педагог Миша Вольпи приходил каждый день. Занятия продолжались по три часа. Алла до смерти не забудет первую распевку – Миша поставил ее в студии, у рояля – ах, Любин белый рояль, белый кит, плывущий через время! – крикнул: «Открой рот шире, как можно шире! Будто у тебя яблоко во рту!» – и ударил по клавишам, извлекая мажорный веселый аккорд. «Яблоко или что другое», – подумала Алла, веселясь. По приказу Миши она пела сначала: «А-а-а», – потом: «У-у-у», – потом: «Ия-а-а, ия-а-а, ия-а-а». «Как осел», – развеселяясь все больше, думала она. Обнаружилось, что у нее хороший голос и хороший слух. «Правда, камерный голосок, – сокрушался Миша, – не особо сильный, оперный зал ты не возьмешь, но для микрофона мы тебе голосишко вытащим!» Когда Миша подошел к ней и положил руку ей на живот, на низ живота, она отпрянула и ударила его по руке ребром ладони. «Ты,

каратистка, – беззлобно сказал Миша. – Это, между прочим, я к тебе не пристаю, дурочка, а объясняю, как певцу дышать. Откуда поют. Вот отсюда, – и он чуть сильнее нажал ей на низ живота. – Баба поет маткой, понятно?.. Набери сюда воздуха побольше, в живот, и выдыхай его в голову, в лоб, в затылок. Представь, что ты воздушный столб и вся вибрируешь». Он не убирал руку с ее живота, и Алла чувствовала странное возбуждение, как перед соитием. Она послушно делала все, что говорил ей Миша. «Я внук Лаури-Вольпи! – гордо сообщал он. – Мой дед воспитал великих певцов!» Алла спрашивала его: а вы сами, Миша, где-нибудь поете? «Я пел в хоре Большого театра, – выпятив грудь, отвечал Миша. – А теперь попробуем распеться наверх, до верхнего „до“. Посмотрим, может, ты колоратура!»

Она – колоратура. Люба была – колоратура?.. Люба поливала со сцены будь здоров. Люба играла голосом, как кошка с клубком. Люба сшибала голосом сердца. А у нее – голосишко. Обман обнаружат. Ей надают по шее. Ей, уличной шалаве с Казанского.

Как безумно, нечеловечески хотелось жрать!

Вечера были сумасшедшие. Сначала, после еды в шесть вечера – два тощих листика салата, лист капусты, чай без сахара, хрустящий хлебец, которым ей хотелось запустить в воблу-Изабеллу, – потом, после ужина – урок сценического движения в тренажерном зале, – Изабелла изгибалась не хуже Майи Плисецкой, Алла все повторяла за ней, жест за жестом, шаг за шагом, – потом, когда семь потов сходило с обеих женщин, Беловолк усаживал Аллу за просмотр фильмов-концертов и просто любительских видеокассет с записями Любы: как Люба ест, как Люба загорает на даче во Флориде, как Люба встречает рождество в Нью-Йорке у художника Алеши Хвостенко, как Люба держит на коленях шоколадную мулаточку с ниткой розового жемчуга на шее. «Гляди, как она поет! Как открывает рот! Гляди, когда она пьет чай, у нее отставлен мизинец, как у купчихи! Возьми так чашку! Именно так! Поднеси ко рту!» – кричал продюсер. «Юра, вы истерик, – Алла окатывала его ледяной водой взгляда. – Так вопят только на стадионе. Вы же не на футболе». Она вставала к экрану, повторяла жесты, ужимки и хватки Любы. У нее все еще были рыжие волосы. Настал день, когда их состригли и уложили в прическу «а-ля Мата Хари», со смоляными завитками на скулах, которую носила Люба.

Когда ее оставили одну, она выключила в спальне свет и подошла к зеркалу. Как-то там Сим-Сим?.. Он ее потерял. И девки, Толстая Анька и Серебро, думают: ну, пришил кто-нибудь нашу рыжую Джой, Сычиху нашу, прямо на хазе, напоролась на малину, или под ребро ей скобу засунули, или просто выкинули на снег с двадцатого этажа, натешившись, такое часто бывает. Сим-Сим и девицы не знают, что ее прежняя житуха – все, кончилась. Она воззрилась на себя в зеркало. Темное озеро стекла расступилось бездонно. Ее взгляд потерялся в черном тумане, утонул, уцепился за призрак отражения. Из зеркала на нее смотрела женщина-вамп – подведенные черным карандашом к вискам большие глаза, черная челка до бровей, черные локоны на щеках. И ее неизменная черная бархотка на шее, с дешевым блестящим сердечком, так шла к облику лукавой дьяволицы. «Люба, – сказала она себе тихо, – я Люба». Тронула пальцем отражение. Вздрогнула. На миг ей стало страшно бездны, расступившейся перед ее глазами.

– Как вы спрятали тело?! Куда...

– Не твоего ума дело.

Он ничего не говорит мне. Меня истязают, как последнюю суку. За мной ухаживают, как за царицей. Я еще не звезда. Меня делают звездой. Так вот как горек хлеб звезды. А я-то думала.

– Зачем люди с телевидения?! Прогоните их! Меня не надо... снимать...

– Ослица. Это не с телевидения. Это мои друзья. Они сделают пробную кассету. Чтобы сравнить тебя с Любой. Пой! Пой «А я сяду в кабриолет»! Миша, давай...

Музыка. Я и не подозревала, что музыка – это труд. Всю жизнь думала: ух, певички, крутят попками, закатывают глазки, шепчут в микрофон: «Вернись, любви-и-имый!..» Никто и никогда никуда не вернется. Никто.

Она удивлялась, что в дом, где бушевала такая грандиозная попойка, в дом, что гудел гостями, как улей, никто не звонит и никто не приходит. Москва будто вымерла за окнами двенадцатикимнатной квартиры в элитном доме в Раменках. Будто вокруг свирепствовала чума. И Беловолк берег Аллу от людей, чтобы она ненароком не подцепила заразу.

Как, когда она нашарила в сумке этот журнал? Как он оказался у нее в сумке, на самом дне? Она не помнила. Морщила лоб, рылась в череде событий – напрасно. Цветистый, глянцевоый, броский, аляповато-зазывный, как павлиний хвост, как наряд бразильского карнавала, журнал про звезд и для звезд. VIP-журнал. На каждой странице – VIP-персоны. Алла бездумно листала его на ночь, включив торшер, медовый свет лился на страницы. Далеко внизу глухо шумел город, прорезали ночной мрак машинные гудки. Ее глаза скользили по фотографиям. Эх и роскошная жизнь у этих богатых, знаменитых баб и мужиков. Чем они ее заработали? Кто чем. Кто талантом, кто рождением, кто передком, кто задком. Кто хитростью. Кто баксами. Кто убил, кто купил, кто предал, кто удачно женился или выскочил замуж. Будешь петь, Алка, на крутых сценах – тоже себе кого-нибудь подцепишь. И удерешь от Беловолка. К принцу Монакскому, например. А что, принца не закадришь?! Ох, как далеко еще это время. Еще пахать и пахать. А это кто?

Люди, шикарно одетые, довольные, сияющие, выхваченные из южной ночи вспышкой фотоаппарата, стояли у фонтана, демонстрируя высокооплачиваемую радость и торжествующую беспечность. Люди иного мира. Куда, она думала, ей никогда не попасть, так и пялиться на него в глянцевых журналах.

Она узнала на фотографии Любу. Бессознательно ощупала пальцами черный завиток на своей щеке. Рядом с Любой стоял представительный, высокий смуглый молодой человек с пышной, мелко выщелющейся шевелюрой, влюбленно смотрел на нее глазами-черносливами, нежно обнимал ее, малютку, за талию. За их спинами вздымались в дегтярно-черное небо разноцветные, подсвеченные снизу прожекторами струи воды. На дне бассейна просвечивали россыпи монет, как золотая и серебряная рыба чешуя. Алла прочитала надпись под фотографией: «Рим, знаменитые супруги Люба Башкирцева и Евгений Лисовский у фонтана Треви. Справа...» Прежде чем рассмотреть, кто там стоит справа и слева, Алла полюбовалась на украшения Любы, хорошо видные на качественном снимке. Сноп света из серег в ушах. Колье на шее – слепящая молния. И на запястьях, гляди-ка, браслеты с крупными, до вызывающей наглости, алмазами. Или это стразы? Неправдоподобно крупны. Едва ли не подделка.

Справа... Справа... Кто же там стоит справа?..

- Юрий, скажите, кто был муж Любы?
- «Кто был *мой* муж». Кто был *твой* муж!
- Кто был мой... муж?..

Беловолк зажег сандаловую палочку и ставил ее в тонкогорлую китайскую расписную вазу, стоявшую на столе. От зажженного конца палочки полился ароматный дым, стал раздвигаться, завиваться двумя тонкими седыми усиками вверх. Алла раздула ноздри. Запахнулась в черный китайский халат с хризантемами.

– Твой муж, Люба, был владелец богатейшего концерна «Драгинвестметалл» и концерна по добыче алмазов на Кольском полуострове «Архангельскдиамант». И он оставил тебе завещание. Я ознакомлю тебя с ним... позднее. – Продюсер кинул острый, мгновенный взгляд на Аллу. – Если будешь себя хорошо вести.

- Я так думаю, Юрий, что я себя и так уже хорошо веду.

– Но не идеально. Стремись к идеалу. Тогда ты будешь дружить со мной.
«Уж лучше бы ты переспал со мной, придурок. Дружить, ха».

Алла наклонилась, понюхала усики сандалового дыма. В горле у нее запершило. Она сегодня распевалась с Мишей Вольпи целый час, потом еще час учила простенькую песенку из Любиного репертуара – «Крошка Дженни». К концу занятий крошка Дженни, которую она возненавидела, казалась ей индийским слоном.

– Завещание, говорите?..

– Мы слишком рано заговорили о деньгах. Пока тебе надо работать. Вка-лы-вать.

Вкалывать. На вокзале вкалывать, на улице вкалывать, по хатам вкалывать, тут тоже – вкалывать. Может, вернешься к легкой жизни ночной стрекозки, Алка? Легкие баксы, легкие матерки, легкие соленые слезы, легкая выпивка с девчонками по вечерам... Может, сбежать?.. Охранников в доме вроде нет. Но черт его знает, Беловолка, может, он держит какого козла с пушкой наготове в машине у подъезда. Как говорил один ее клиент, художник, подцепивший ее в «Парадизе» и заплативший ей не деньгами – у него денег не было, – а натурой, двумя своими свежими, еще невысохшими этюдами: «Важно схватить состояние». Стоп. Состояние. Состояние Любочки. Ее завещание. Глава концернов «Драгинвестметалл» и «Архангельскдиамант» наверняка оставил жене огромное состояние. И, значит, это состояние теперь принадлежит... ей?.. Она – никто. Она – актриса. Подсадная утка. Все бумаги в руках Беловолка. Беловолк-Карабас сделал себе живую куклу. Ее. Куклу Башкирцеву. И дергает ее за ниточки: пой! Танцуй! А состояние? А состояние... важно схватить...

Лисовский оставил завещание жене. Только жене?.. Или еще кому-нибудь? А дети?.. У людей ведь бывают дети... Они так не вовремя всегда рождаются. Вон Инна Серебро сделала пять аборт, плачет: вдруг детей у меня не будет, а я ведь о мальчике мечтаю, о мальчике, мне никаких мужиков не надо, зашибу сто штук баксов, куплю роскошную хату на Тверской, рожу мальчика-ангелочка и воспитаю его как хочу. «Сто штук! – смеялась Алла. – У тебя сто рублей в заначке есть?.. сбегай за водочкой!.. Выпьем за мальчика!..» Какое состояние завещал Любе муж? Хорошо еще – завещание успел сделать. На Западе все порядочные люди делают завещания молодыми. Об этом ей, попыхивая сигаретой, однажды важно Сим-Сим сказал.

Ее гранили, как алмаз. Ее точили, как изумруд. Ее обтачивали и круглили, как звездчатый сапфировый кабошон. Ее вставляли в золотую оправу. Глава концерна «Драгинвестметалл», если б он был жив, мог быть доволен. Девку, подобранную на улице, в ресторане, вытачивали и лепили на славу. Ее уже нельзя было отличить от его убитой жены. Так, разве незначительные, незаметные штрихи... опытный глаз не сразу схватит...

Беловолк устроил ей первый концерт в гостиной графа Шувалова. Он сильно волновался, утром дажепил сердечные капли. «Попробуй только осрамиться, мегера. Я тебя изобью – живого места не оставлю. Ты мою руку знаешь». Алла пожимала плечами, бросала ему: «Всех не расстреляете, всех не перевешаете». И она тоже боялась. Они передавали свой страх друг другу.

Изабелла Васильевна заставила ее надеть наряд, который больше всего нравился Любе – она часто выступала в нем: черное, сильно открытое платье – все плечи наружу, слишком нахальное декольте, – голые руки, талия утянута в рюмочку, бедра обтянуты, длинная юбка, длинный разрез по бедру. Мне трудно двигаться в нем, дергалась Алла, мне бы что-нибудь посвободнее! «Вытерпишь», – жестко кинула Изабелла и сильнее затянула ремни корсета на спине, так, что из легких Аллы вышел весь воздух и она закашлялась. Она сильно похудела, от нее осталась ровно половина, туфли ей выдали на низком каблучке – Люба всегда пела на платформах, – она, видимо, была чуть повыше Любы; зеркало отразило очаровательную парижскую кокетку двадцатых годов – с улицы Сент-Оноре, с площади Этуаль, – а может, нью-йоркскую богатую потаскуху из ночного клуба «Коттон». «Гениально, – процедила Изабелла, – если ты

еще и споешь сегодня, в обморок не грохнешься, мы с Юрой купим тебе „вольво“. Машину умеешь водить? Или и этому тебя учить тоже?» Машину Алла водить умела. Ее научил Сим-Сим. Иногда он ей давал свой маленький «фордик» – ехать на ночь к клиенту.

Когда она ощутила под ногами доски сцены и поняла, что ей надо выходить туда, в яркий свет и дикий страх, перед глазами у нее потемнело и завертелись бешеные круги. Беловолк прошипел: «Вперед, стерва!» «Интересно, он Любе тоже „стерва“ говорил или он только меня так припечатывает», – подумала Алла, выбегая под огни рампы, а оркестр уже наяривал вовсю, и уже через миг, другой она должна схватить микрофон и спеть в него это, заезженное: «Ах, шарабан мой, американка...» Она цапнула микрофон. Запуталась в длинном шнуре. Крикнула залиvisto: «А вы богаты, – куда же прусь я?!...» И прошептала: «И за брильянты не продаюсь я...» Оркестр грохнул, как гром. Зал уже, возвевая руки, раскачиваясь, пел вместе с ней: «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка да шарлатанка!» Всех прельщало, что она вернулась из Америки. Всем это льстило: вот ведь, в исковерканную Россию, в такую, где одни богатые и одни нищие, в страну брильянтов и голодных слез, а вот вернулась в шарабане Любка Башкирцева, вернулась!

Зал запел вместе с ней, и ей стало легче. Хорошо, что Беловолк выбрал шлягер для ее дебюта. Шлягер знают все и орут все. Вроде бы не так слышно себя.

После первого отделения, когда Алла, вся улитая потом, мокрая как мышь, ввалилась со сцены за кулисы, к ней, расталкивая оркестрантов, не подозревавших ничего и не заметивших ничего особенного, кроме того, что Люба что-то вроде устала очень, нервничает, шея вся покрыта красными пятнами, переутомилась, шутка ли, концерты подряд в Нью-Йорке, Париже, Питере, теперь вот здесь, в Москве, хорошо хоть, небольшой зал, избранная публика, вход только по элитным билетам за триста долларов, – пробрался высокий смуглый мужчина, и она вздрогнула. Вздрогнула всем телом. Уставилась на него. Он подошел близко. Совсем близко. Она слышала его дыхание. Он наклонился и поцеловал ей руку. Когда он поднял от ее руки лицо и внимательно посмотрел на нее, она поняла, кто это был.

Брат погибшего Лисовского. Копия Евгения. Может быть, близнец.

Он выдернула руку, отерла пот со лба. «Извините, мне... мне надо отдохнуть перед вторым отделением». Вот сейчас он скажет: да что ты, Люба, меня на «вы», мы же были на «ты», со страхом подумала она.

После концерта – все сошло хорошо, если не считать пота, катившегося градом по лбу и вискам Аллы и заливавшего ей брови, ресницы и глаза и мешавшего петь, – в особняке Шувалова был дан банкет в честь великой Любы Башкирцевой. Беловолк стоял рядом с Аллой, его нога касалась ее бедра под блестящим черным платьем. «Если я что-нибудь скажу не так, он наступит мне на ногу». Алла высоко вздернула голову. Засмеялась, показав ровные белые зубы. Сим-Сим говорил всегда, что у нее вполне проститутский рот и проститутские зубы. А Миша Вольпи говорит: рот вокальный, пасть что надо. Пусть они все подходят, спрашивают что угодно! Она укусит их красивыми белыми зубами за пухлые плечи, за толстые ляжки.

Кто-то рядом с ней, звеня бокалом о ее бокал, спросил ее про Америку – что, она не разобрала в густом общем гуле. «Ах, на Манхэттене?.. Да, у нас на Манхэттене изумительно! Просто прелесть! Я скучаю!» – выпалила она в незнакомое лицо. Лицо перед ней словно стерли тряпкой. Из блеска, мрака, хрусталя люстр, звона бокалов с красным вином выплыло другое лицо. То, смуглое, шевелюра в мелких темных колечках, как у мулата. Мужчина держал в руках бутылку шампанского, обернув ее в полотенце. «Как халдей в „Парадизе“», – отчего-то подумала она. Он наклонил горлышко бутылки, налил ей в бокал шампанского; поставил бутылку на стол, поднял бокал вровень с глазами. «Так как? Квартирка на Лексингтон-стрит больше не устраивает вас? Переехали в Челси?..» Алла закусил губу. «Там спокойнее, тихое место». Кудрявый красавец расхохотался. «Челси – тихое место в Нью-Йорке!» Наклонился к ней ближе. Внятно сказал ей на ухо, обдавая горячим дыханием:

– Вы... не Люба.

Она заученно улыбнулась, показывая зубы.

– Нельзя и пошутить.

Все внутри нее оборвалось. Она дрожала. Вот и кончено все. Ты же видишь, как кричат глаза этого красивого мальчика: «Где Люба?!»

Она выставила вперед грудь. Сим-Сим всегда говорил, что у нее обольстительная грудь, так бы и съел. Соблазней его глазами, плечами, напрягай и расслабляй под блестящим, туго обтягивающим тебя платьем чуть выпяченный живот. Мужики – животные. Этот западет на тебя, будь уверена.

Она будто со стороны увидела свою белую, ослепительную, многозубую, как у голливудской тетки с обложки модного журнала, надменную улыбку. Глаза близнеца заблестели. Ключнул.

Я таскаю с собой в сумочке Тюльпан. Я зачем-то таскаю его все время с собой. Какого черта?! Он приколовал меня. Мне непонятна эта игрушка. Он такой странный. Я часто верчу его в руках, рассматриваю, даже лизну языком, у него такие гладкие стальные лепестки. Он волнует меня. Я ковыряла его ногтем – может быть, думала я, какой-нибудь лепесток отогнется, отойдет в сторону, и железный цветок раскроется. Чепуха, он цельный. Он цельнометаллический и страшный. Если его бросить, прицелившись и размахнувшись, им можно запросто убить, если попасть в лоб или висок.

Сейчас, когда я разговариваю с Близнецом, Тюльпан лежит со мной в сумочке, оттягивает тонкий ремешок. Он тяжеленький, как младенец. Может, он сделан из титанового сплава? Я не показывала его никому. Может быть, Беловолк или Изабелла обыскивали мои вещи, пока я сплю. Я сплю чутко, как кошка. В мою спальню не входил ночью никто. Даже Беловолк не является меня насиловать, а ведь он иной раз смотрит на меня недвусмысленно, ну, да он знает, кто я такая и сколько стою.

Пока они стояли и говорили, за ними наблюдал тот, что стоял рядом с ними за фуршетным столом. Стоявший рядом отправлял в рот инжир, зефир, отщипывал виноградины, запищал все это вином, его движения были механическими – он не сводил глаз с собеседников. Алла поймала этот пристальный взгляд. Она подумала мгновенно: со стороны мы, я и этот Игнат, выглядим точь-в-точь как та, убитая, уже несуществующая пара. Как Башкирцева и Евгений Лисовский. Человек, стоявший рядом, внезапно выхватил из кармана фотоаппарат. «НИКОН» сделал, прошуршав, несколько снимков. Алла не успела и рта раскрыть. Что ж, звезду фотографируют папарацци, это ясно как день. Игнат сделал еще шаг к ней. Теперь он был совсем близко. У тебя нет другого выхода, Алка. Нет другого выхода.

– Улизнем быстро, – ее губы влажно раскрылись, глаза обдавали Игната обещающим сиянием. – Пока нас не видит Юрий. Ничего не спрашивай. Я хочу тебя.

Им удалось незаметно выскользнуть из банкетного зала потому, что Беловолк легкомысленно выпил коньяка, расслабился, отвлекся, весело и увлеченно болтал с богатенькой хорошенькой Властой, дочкой нефтяного магната Утинского.

Еще одна постель. Как их много было у тебя в жизни. И не только постелей, но и подворотен, сараев, гаражей, платформ, складов и черт-те чего, где можно уединиться для того, от чего в книжках мужчины и женщины умирают, закатывая в восторге глаза, а в жизни... Алла, это продолжается твоя жизнь. Вранье, теперь уже не твоя.

«Ты ведь не Люба, не Люба». Она поднимался над ней, опускался. Она видела – ему с ней было хорошо. Она молчала. Она опутывала его собой, чтобы он забыл свое любопытство. Она так обольстила его, что он и вправду забыл, кто он и где он, стонал, извивался, корчился,

пот тек у него по спине в три ручья. После того, как она в бесчисленный раз уселась на него верхом на скрипучей кровати в гостиничном номере, снятом им на одну ночь в «Галактике», она склонилась к нему пылающее лицо и сказала: «Я Люба». И он молча положил руку ей на голую мокрую спину.

Он сунул мне свою визитку, этот папарацци. Мало того, что он меня сфотографировал, он еще, видимо, собирает конфиденциальную информацию из жизни звезд. Копаются в грязном белье. Ему надо, чтобы я вывернулась перед ним наизнанку, как чулок, и расстrepалась, с кем я сплю и где, сколько у меня было внематочных беременностей, открыла ли я дом моделей на Гавайях и отдалась ли наконец святому Далай-ламе. Павел Горбушко, собственный корреспондент газеты «Свежий номер», ведущий рубрики «Сенсация». Павел Горбушко! Ну и имечко. Горбиться на такой поганой работе. Это так же погано и тяжело, как работать иллюхой. Ну что же, газетный жиголо, я позвоню тебе. Ты мне сгодишься на вечерок. Ты мне нужен. Я натреплюсь тебе с три короба, и ты напечатаешь обо мне статью, и все будут читать, какая Люба сука и дрянь. И все будут восхищаться Любой. Как обычно. Как всегда. И тому, кто меня заподозрит, плохо будет. Пресса. Мне нужна пресса. Пусть этот Горбушко пишет... строчит... Господи, как же храпит в постели этот Близнец... Как он похож на Лисовского... Но из него-то Евгения уже не создашь, мир знает, что их двое... А я – одна.

••• ••• •••

Зачем она пришла сюда? Ноги сами привели. Красные буквы ресторана по-прежнему кроваво размахивались веером вширь по стеклу, покрытому морозными узорами: «PARADISE». Шуба на ней была уже другая. Беловолк с Изабеллой продумали ее гардероб. Она пыталась представить, что все эти вещи принадлежат ей, – и не могла. Беловолк ясно давал ей понять, что она – рабыня-актриса, хорошо исполняющая роль, какую хочет хозяин. Она закурила, дым обволок ее лицо. Люди оглядывались на нее. Некоторые перешептывались, возможно, узнавали. «Вольво» она припарковала за углом Казанского вокзала. Был поздний вечер, и сегодня у нее была запись в студии. Она записывала новый альбом, разученный с Мишей Вольпи. Бедный Миша Вольпи. Он ходит по канату над пропастью. Миша знает, что она не настоящая Люба; если он проболтается, его уберут. Нет, его уберут даже раньше. Когда он закончит шлифовать ее голос и разучит с ней достаточно шлягеров, и дальше по сцене она побежит сама, без поводка. Беловолк – убийца?! Почему нет. Мало ли кто хочет нанять киллера, теперь это просто. Может быть, это он убил Любу. Может быть. Все может быть.

Она не показала Игнату Тюльпан там, в номере, хотя тысячу раз могла бы показать. И спросить, что это такое. Ну и что? Он бы рассмеялся, повертел бы игрушку в руках. Даже если бы знал, оставил бы лицо каменно-равнодушным или игриво-веселым: «Хм, занятная штучка!..» Никому никогда не показывай его, Алла. В нем тайна.

Ее будто обожгло ударом хлыста. Тайна убийства Любы.

Не может быть, не может. Разве этот железный бутон может убить, он же не граната, с него не сорвана чека. Разве только размозжить им череп. Она усмехнулась, кинула окурочек в снег, шагнула ближе к ресторанному окну.

Тот самый нищий сидел за столом и ел.

Он сидел за столом, поставив локти-кочерги на столешницу, густо посыпал солью неизменный салат и вбрасывал его вилкой в рот. Стопка перед ним уже была пуста. В графине еще белела водка. Он, глядя в морозное окно на Аллу и, видимо, смутно различая ее, протянул руку, не глядя, схватил графин за горлышко, налил водки еще. Алла вздрогнула. Он смотрел на нее так пристально. Она, сама не сознавая, что делает, расстегнула сумочку, вынула Тюльпан, сцепила во миг захлаждавших пальцах, показала ему. Нищий поднял стопку и выпил. Его узкие восточные глаза разрезали бритвой белую наледь на стекле. Красные буквы стекали вниз по стеклу. По спине Аллы пробежали когтистые лапки мороза. Она вспомнила себя рыжей Сычихой, сощурилась так же, как этот завсегдатай ресторана, молчаливо пьющий свою водку, что ни вечер, в углу у окна.

Он посмотрел на нее так, будто узнал ее. Будто он целый век знал ее. Он глядел на Тюльпан у нее в руке, как на язык огня. Потом поднес ладонь к глазам, словно защищая их от яркого света.

Какая муха укусила ее нынче вечером? Может быть, она так заглушала дикую тоску, поднявшуюся со дна ее души после того, как она переспала с Игнатом Лисовским? Ей надо было забыться. Зачем она пришла к ресторану? Зачем поехала к Сим-Симу? Она умерла для ресторана, для Сим-Сима, для подружек-девиц. Это она умерла на самом деле, а не Люба; зачем она демонстрирует себя, появляется там, где появляться нельзя больше? Алла испытывала судьбу. Она погнала свой «вольво» на Воронцово Поле, благо это было рядом с Комсомольской площадью, быстрый пролет по Садовому, и она снова у своего сутенера. Она держала пари с самой собой: он не узнает ее. «Брось, не лукавь, он узнает тебя по запаху, как зверь». Она понюхала рукав дубленки. Она давно уже, целых два месяца, пахла немислимыми парижскими, египетскими, мадридскими ароматами – духами «Паломы Пикассо», «Шок де Шанель». Ее влекло на

Воронцово поле неотвратимо, как приколованную. Это было вроде рулетки, вроде карточной игры: я выиграю, он меня не узнает! Он попытается и заорет: Люба Башкирцева, здравствуйте, какими судьбами?!.. Башкирцева, Ваше Величество, как, вы... и – ко мне?!..

Она хотела поглядеть на того, кто мучил ее, отсюда, из своей нынешней звездной жизни. Пусть он побудет хоть немного рабом, а она – хозяйкой. Он – внизу, она – над ним. Она горько улыбнулась, тормозя у подъезда. Она ведь тоже рабыня. И она об этом не забывает ни на секунду.

Спасибо, когда-то Сим-Сим научил ее водить тачку – оплатил ей курсы и водительские права. Думал: выращу стильную шлюху, будет мне на «мерсах» клиентов зашибать. Сим-Сим давал ей свой «фордик», и она везла клиента на квартиру – подгулявшего командировочного с Курского, богатого азиата с Казанского... На этом же старом «фордику», страшно матерясь, он вез ее в больницу с острым животом. Внематочная. Залетела. Как ни береглась... О ребенке не могло быть и речи. Сим-Сим оплатил ей и ту операцию тоже. Она – его выкормыш. Так же, как Люба была выкормышем Беловолка. Да, у них, двух девок, похожие судьбы. По какой зимней морозной канве огнем вышито сужденное ей?

Алла стукнула в дверь. Постучалась громче, сильнее. Дверь подалась под ее рукой. Она нажала – дверь отворилась. Ну, что же ты, входи.

Какой затхлый дух. Чем-то соленым пахнет. И гнилым. Струйка засохшей крови, вытекшей из-под плотно закрытой в комнату застекленной двери заставила ее сжаться. Она, с сильно бьющимся сердцем, открыла дверь в гостиную и подумала, что обязательно попросит Беловолка купить ей револьвер. Или, еще лучше, пистолет. Хотя какая разница. В пистолете больше патронов умещается, она знала об этом понаслышке. А если в квартире кто-то спрятался?! Теперь поздно. Насытила ты свое любопытство?! Свое тщеславие, маленькая сучка?!

Вперед. Шагай. Теперь уже поздно все.

Тишина глухотой, ватой заложила уши. На полу гостиной лежал мертвый Сим-Сим, Семен Гарькавый, ее сутенер, весь в крови. Откуда столько крови, подумала Алла глупо, ведь он весь вроде бы целенький, непорезанный, и рваных ран никаких нет, и... Она зажала себе рот рукой. На шее Сим-Сима зияла маленькая круглая ранка, будто от шила. Кровь натекла из нее, и, должно быть, он умер не сразу, приходил в себя и снова терял сознание, ползал по полу, пачкаясь в своей крови, звал на помощь. Рот его был слегка приоткрыт. Алла, осторожно обойдя подсохшую красно-коричневую лужицу, присела на корточки, расстегнула пуговицу воротника пушистой песцовой шубы. Она задыхалась. Та же рана! Не может быть!

Она протянула руку в перчатке, отвела со лба Сим-Сима сальные темные пряди волос, заслонявшие лицо. Как оно искажено. Она с трудом узнала черты сутенера. Узнать его ей можно было лишь по брюнетистой масти да по темно-синей щетине, покрывавшей его массивные скулы. Внимательно рассмотрела рану на шее. Да, точь-в-точь такая, как у Любы. Совпадение? Жизнь полна совпадений. Стрелок стреляет в «яблочко», и другой попадает в десять очков. И все же странно. Слишком странно.

Она поднялась. Осмотрела песцовую шубу. Только бы не было следов крови. Сим-Сима убили недавно, дня три назад. В квартире было холодно, запах от трупа шел слабый, сутенер, истязавший рыжую Джой: «Десять мужиков за ночь – норма хорошей проститутки!» – еще не успел разложиться.

Так, так, так. Дохлый номер, чтоб ты помер. Так, так.

Почему не заводится машина?! Еще не хватало, чтобы в меня выстрелили из-за угла перед домом Сим-Сима. Или чтобы дверца открылась и на меня накинули удавку. Или воткнули мне шило в шею, как... как всем им. Кому – «всем»? Ты же не знаешь, Алка, как умер Евгений Лисовский. Ты же не знаешь. Ну и молчи.

Так, все завелось, отлично, прочь отсюда. Быстро в Раменки. Юрий уже с умасходит. Обзвонил больницы, морги. Уже, верно, за полночь. Мне нельзя и погулять. Тогогляди, он представит ко мне охранника. Или сделает так, чтобы я и не подозревала о слежке. Ему это придет в голову. Он боится за меня. Он боится – за себя?!

Снег залепляет лобовое стекло. Декабрь, и скоро Новый год. Какие Новые года были там, в Сибири, на станции Козулька, ты помнишь, Алка?! Мать приносила из тайги не ель – маленький кедр. Кедр топорилил изумрудно-синие, густо-колючие лапы. Ты трогала иглы голыми ладошками, кололась, восхищенно кричала: «Мама, он голубой!» Ты тогда не знала, что станешь иллюхой. Что словом «голубой» будешь называть геев. Ты вырезала снежинки из конфетных оберток, из фольги, и навешивала их на кедровые ветки. И свечи из настоящего пчелиного воска, из ульев с пасеки дяди Митяя, мать прилепляла к ветвям, и святой Иннокентий, сибирский святой, смотрел из красного угла на людскую кутерьму. Часы били двенадцать, и за ночь гирька ходиков дотягивалась до половицы. В моих катанках утром я находила подарки. «Лесовик принес», – смеялась мать. Мать одна ходила в лес, с берданкой и ножом, на медведя. На какого медведя пойдешь ты, Алка, в дикой, хуже тайги, Москве?!

Морозная дорога ложится под колеса. Жизнь пока ложится под тебя, Джой. Только ты уже не рыжая. Беловолк. Ты думала – он убил Любу. Но разве Беловолк знает Сим-Сима? Откуда он мог его знать? Неувязка. Стоп. Светофор. Красный свет. Включи «дворники», Алла. Закури, легче будет. Хорошо, что ты не снимала перчатки, не оставила отпечатков пальцев в хате Сим-Сима. Игнат. Что – Игнат? У Игната был когда-то брат Женя. Как Женя был убит? И кем? Кажется, убийцу не нашли, дело закрыли. А может, нашли, но не обнародовали – побоялись мести, если за тем убийством стояли крупные мафики, они могли убрать всех. Узнать все же, как он был убит. Застрелен в машине? Взорван в офисе? Вспоминай, вспоминай, старушка, ты же читала об этом в газетах. Вроде бы перерезали горло. Но это могла быть всего лишь версия журналистов. Дырка на шее запросто превращается в перерезанное горло. Ты спросишь об этом Беловолка. Ты спросишь его об этом осторожно, не в лоб, а по-умному. Найдешь время и место.

Может, покурить, пока машина катится по ночной Москве? Может. Где сигареты, ага, в «бардачке». Зубы ловко зажимают бумажную соску. Я раскуриваю сигаретину виртуозно, одной рукой щелкая зажигалкой, другую небрежно держа на руле. Певица. Великая певица возвращается ночью домой. Неужели я настолько талантлива, что мой обман, наш с Беловолком обман никто не раскроет?

Зачем я показала Тюльпан тому нищему, тому мрачному человеку, что всегда жрет свой салат в «Парадизе»? Он выпил водки за мое здоровье. Как вдруг захотелось сациви. Помню, мы с девками, с Акватинтой и Серебро, ели сациви, аж за ушами трещало, пальчики в тарелку обмакивали, Витя смеялся, потому что на Толстой Акватинте была вуаль, настоящая такая черненькая парижская вуалька – вроде той, что так пошла бы Любе... мне. Я правильно сделала, что показала ему Тюльпан, хотя сама не понимаю, зачем я это сделала. У него такое лицо, у этого нищего. Такое мрачное, тяжелое. Раскосое, как у Чингисхана. У него лицо воина.

У него лицо убийцы.

Что ты несешь чушь, Алка. Опомнись. Затормози на красный. Уже мост через Москва-реку. Уже проспект Вернадского. Уже Раменки. Беловолк. Игнат Лисовский. Безмянный нищий в кабаке. Ты дура. Ты круглая дура, Алка. Ты же не същик. Корысть ли тебе думать об убийце. Да! Корысть! Я же сама живу сейчас под дулом страха. Под невидимым лезвием ножа. Чем делают такие маленькие круглые ранки на горле?!

••• ••• •••

– Сычиха! Это ты?! Это же не ты!

– Какого хрена...

– Иди ты! Это же Башкирцева, ты что, не признала! Здравствуйте, Любовь Борисовна! Проходите, у нас не убрано...

– Черт, Алка, что, уже Рождественский карнавал начался, что ли, ты нас разыграла к шутам как по нотам, да?!..

Она видела – подружки обалдели. Страхивая снег с рукавов шубки, сбрасывая песцовую шапку на руки онемевшей от изумления Толстой Аньке, Алла смеялась от души. Смеялась, хоть теперь, после того как она увидела в квартире Сим-Сима его труп, ей было не до смеха.

– Да ладно дуру-то гнать!.. Ты?!..

Инна протянула руку и бесцеремонно ущипнула Аллу за коротко стриженные, смоляно-черные густые волосы. Алла ударила ее по руке.

– Дерешься ты, надо отметить, все так же!.. Ну, Анька, это же Сычиха собственной персоной, поверь, только вся к чертям перекрашенная! Под Башкирцеву решила поработать?!.. Сбежала от Симыча, да?!..

Они не знают, что Сим-Сим убит. Они не знают.

– Ну разумеется, это я. Классно сработано, да?

– Класснее не бывает, – Серебро задыхалась от зависти и восторга. – Как тебе это в голову пришло? Стрижка супер, – Инна поцеловала кончики пальцев, – эпока Любиного «кабриолета»... двадцатые годы, твою мать... а я сяду в кабриолет и уеду, блин, куда-нибудь!.. сейчас в моде стиль ретро, всякие шимми, хримми... ты все просчитала верняк, Алка!.. Я всегда говорила, что у тебя тыква не пустая! Ты всегда мыслила железно, даже под кулаком Сим-Сима... у тебя всегда варил котелок, всегда, не то что у меня...

– Не хнычь. – Алла прошла в комнату, и девки заахали, рассматривая ее сапожки, ее платье, кольца на ее руках, ее самое. – Есть что пожрать?

– Есть, есть... Инка, тащи курятину... Мистика! Бред! Расскажи!

Она выложила девкам все. Все как есть, без утайки.

Она нарушила клятву, данную себе: никому и никогда. Там, где баба говорит, огонь горит, это же ясно. Серебро хохотала. Аквагинта прижимала ладони к вискам.

– И вот я ему говорю, значит, Беловолку-то: это ты грохнул Любку! А он мне: ни хрена подобного! И смотрит на меня, будто хочет...

– ...будто хочет, я понимаю. И ты...

– И я говорю: что будем делать? А он: я тебя сделаю...

– В каком смысле? Убью, что ли?..

– ...сделаю Любкой. Ну, понимаешь, Анька, чтобы я поменяла имиджуху всю! Досконально! Стала ее двойником! Второй Башкирцевой! Чтoб никто ничего не понял!

– Ты ешь, ешь, я курочку с чесночком в духовке напекла, помнишь, как мы любили. – Аквагинта пододвинула к Алле всю сковороду. – Ломай пальцами, не стесняйся, жри! Или тебе, после барского стола, наша кура говном глядится?!..

Пальцы Аллы окунулись в белое, пахнущее чесноком куриное мясо, поплыли в жире. Щеки ее вспыхнули. Ей отчего-то стало невероятно стыдно. Она устроена, а девки?! Влачить существование уличной шалавы... Устроена – мягко сказано.

– Я подневольная скотинка. – Ее голос стал тяжелым, как чугун. Она не могла поднять глаз от растерзанного пальцами мяса. Ей показалось – это ее мясо приготовили в печке и растеребили, и грызут, и рвут на куски. – Мне туго, девчонки. Хрен редьки не слаще. Я пашу будь здоров. Иногда мне все это кажется кошмарным сном. И я щиплю себя за руку, чтобы

проснуться, и не просыпаюсь. – Она задрала рукав черного трикотажного платья от Гуччи и показала синяки на запястье. – Интересно все так, правда?

Толстая Анька, прищурясь, смотрела на нее. Ее веки без ресниц, ненакрашенные, набухли, как после слез, поросычьи глазки часто заморгали.

– А если все откроется? – опасливо спросила она и тоже залезла рукой в сковородку. Серебро задумчиво заплетала бахрому скатерти в косичку.

– Я защищена, – гордо, неожиданно для самой себя, вскинула голову Алла. – У меня есть счет в банке на имя, черт побери, Любви Борисовны Башкирцевой.

Зачем она так сказала? Счет существовал. Беловолк не закрыл его. Но счет был не ее, а Любин. Смерти Любы не было. Люба продолжала жить. В ее коже, в ее теле. Она внезапно вспомнила нежные маленькие пальцы, ласкавшие ее тело, проникавшие в его потаенные уголки. Она никогда не испытывала с мужчинами того, что испытала тогда, в ту ночь, с ней. Почему же наутро, в машине того таксиста, ее чуть не вырвало, как беременную? Она сказала девкам про счет потому, что не хотела выглядеть перед ними униженной. Она не должна быть униженной. Не должна.

– Та-а-ак, – протянула Серебро, исподлобья глядя на нее. – А ты не боишься, что твоя роскошная жизнь, твои концерты, твои гастроли, дачи на Багамах – вся эта твоя опасная игра в звезду – временная отсрочка, и тебя замочат так же, как замочили ее мужа и ее самое?!.. Замочат по-простому. По-русски. Без всяких тайн и выдумок. Из-за твоих неподдельных камешков твоего, пардон, Любиного Лисовского в твоих, милль пардон, Любиных закромах и из-за Любиных настоящих счетов... не твоих, не пудри нам мозги, мы же все понимаем!.. где там?.. в «Лионском Кредите»?.. в «Bank of New-Jork»?..

– Это ты, а не я, всегда была сообразительной, Серебро. – Аллин голос пресекся. – Это твоя кастрюля всегда хорошо варила.

Все похолодело у нее внутри.

Время. Пошло время. Время стало отстукивать внутри нее.

Костяшками по морозному стеклу.

Колотушкой – по железу.

Они, бедняжки, не знают, что Семыч убит. Молчи. Не говори им.

Тебя могут убить так же, как Гарькавого – в любое время.

Приехав домой, в Раменки, она первым делом полезла под подушку. Журнал с VIP-персонами был на месте, продюсер еще не добрался до него – или он показался Беловолку безобидным, развлекательным. Алла привыкла, что за ней следили. Обыскивали ее вещи. Рылись в ее нарядах. Обсатривали каждый закуток. Перебирали ее драгоценности. Ее? Серебро права. Ей здесь ничто не принадлежит. Призрак, фантом. И она – фантом. Может, у нее уже выросли за спиной призрачные крылья, и она вспорхнет, откроет окно и полетит – с девятого этажа?

Раздевшись, она упала на кровать, схватила журнал, стала его листать. Где та фотография? Вот она. Сколько раз она смотрела на нее. Вглядывалась в лица. Кто еще остановлен бесстрастным объективом? Что это за люди рядом с Любой и Лисовским? Что это за женщина с копной пышных иссиня-черных волос, похожая на испанку или на аргентинку, стоящая чуть поодаль от счастливо обнявшейся у фонтана Треви звездной семейной пары? Что это за мужчина, с заметной восточной раскосостью, уставившийся на пышноволосяную красотку зло и требовательно, несмотря на то, что его губы весело улыбаются? Немая сцена. Замороженное вспышкой мгновение. Эти люди еще не знают, что будет с ними. Она, Алла, знает, что случилось с двумя. Остальные? Остальных не знает она. Она должна узнать, кто они.

Она, в длинной ночной сорочке, обшитой по подолу белопенными кружевами, встала с кровати, подошла к креслу, щелкнула замком сумочки. Косметичка. Визитка. Где-то здесь. Да, вот она. Визитка того нахального папарацци. Павел Горбушко. Она лениво взяла со стола

сотовый, набрала домашний номер журналиста. После пяти длинных гудков усталый голос в трубке ответил: «Павел у телефона. Але, але. Говорите, вас не слышно».

Он говорил с ней так, как она и ожидала – не радушно, а сухо и жестко. Жесткий стиль общения, посматривание на часы. «Время – деньги, понимаю, котик». Она назначила ему свидание в «Парадизе». Она не смогла отказать себе в удовольствии еще раз посидеть в любимом ресторанчике, который теперь, отодвинувшись в туман прошлого, казался ей ностальгическим раем. Она осматривалась. У нее скоро будут гастроли в Париже. Миша Вольпи разучил с ней новое отделение, специально для зала «Олимпия». Зал «Олимпия»! Шутка сказать! Если бы Алле год назад сказали, что она будет выступать в зале «Олимпия» в Париже, она бы повертела пальцем у виска и бросила: «Пить надо меньше».

Они с Горбушко, собкором газеты «Свежий номер», ведущим рубрики «Сенсация», сидели в «Парадизе», и Алла следила, как снуют официанты по залу – туда-сюда, туда-сюда. Они говорили долго; говорили, пока им, как назло, долго не приносили закуску и второе, говорили, едва глядя на принесенную еду, безразлично ковыряя в ней вилками; говорили, осторожно прощупывая словами почву друг под другом – не опасно ли, не оступятся ли, не завязнут ли в трясине. Из долгого и непростого разговора Алла узнала, что Павел Горбушко – настоящий фанат, fan, просто-таки летописец Любочки Башкирцевой, ее Штирлиц, ее Квазимодо. «Я был на всех ваших концертах в Москве. Я ездил за вами во все более-менее крупные города, где вы давали концерты. Я по крупницам собирал сведения о вас. Я...» Он закурил. Она лениво тянула из бокала сухое вино, которое она ненавидела. «Я мотался за вами по Америке, когда вы еще не были замужем за Лисовским». Она вздернула брови. Он слишком внимательно смотрел на нее.

Халдей Витя сто раз прошел мимо их столика, сто раз подобострастно, с улыбочкой, сощурился, склонился: сама Башкирцева! «Не узнал», – с горечью подумала Алла.

– По Америке?.. Это занятно.

– Да, по Америке. Вас тогда подхватил под мышку Юра Беловолк. Юра – древний делатель звезд, я-то знаю. – Алла с сомнением глянула на его гладкое молодое лицо. – Он выловил вас в ресторане. – Почему этот нахал папарацци на нее так подозрительно смотрит? – Я тогда подрабатывал на нью-йоркском телевидении, осваивал медиапрограммы, строчил как проклятый статьи о русских на чужбине, пропадал в ресторане «Приморском» на Брайтоне... – Он посмотрел вокруг. – Здесь немного похоже на Брайтон. Какая-то странная атмосфера мрака, ностальгии. Даже табак тут пахнет ностальгией. А мы в России. В сердце Москвы. Вам не кажется это странным, Люба?

Он назвал ее – «Люба», и она слегка вздрогнула. От него не укрылся этот вздрог. «Дотошный папарацци». Она сделала большой глоток вина. Вот сейчас он начнет расспрашивать ее об Америке, и она промахнется. Она пьет, а он нет. Не хочет захмелеть? Журналисты всегда так внимательны к себе?

– С некоторых пор мне ничто не кажется странным. – Она помолчала. Он взглянул понимающе и как-то насмешливо. – Даже ваша слезка за мной в Америке. Вам что, в Штатах делать нечего было?

Сердце бухало в ребра. Сейчас он спросит ее: «А вы помните, когда вы пели в крошечной забегаловке „Цветок лотоса“ в Чайна-тауне, каких там подавал дядя Сяо к столу змей, жареных в собственном соку?»

– Мне было что делать. Журналисту всегда есть что делать. – Его глаза вдруг загорелись странным волчьим, чуть красноватым светом. – Я был в вас влюблен, Люба, с тех пор, как увидел вас там, в Нью-Йорке, в «Ливии». Вы так забавно пели «Жиголо, мой жиголо». Я сам чувствовал себя этим жиголо. Я сразу почувствовал в вас мощь. Я сказал себе: вот эта маленькая певчая русская шлюшка из занюханной «Ливии» – гений. Надо проследить за ней. Потом этот ваш внезапный взлет. Концерты в Америке. Диски. Ваш голос на дешевых кассетах, в

машинах, в автобусах, в такси, особенно если таксист – русский: «Наша Люба поет!» Беловолк накрыл вас вовремя, как бабочку – сачком. Ух, ему повезло. Но ведь и вам повезло тоже.

– Вы не слишком много говорите, Павел? Покурите. Я подумаю о том, что вы мне сказали. Я и не подозревала, – она постаралась, чтобы усмешка вышла естественной, – что у меня был такой поклонник в Америке.

Горбушко помолчал. Они оба услышали, как на сквозняке под потолком звенят хрустальные колокольчики ресторанных люстр.

– Я знаю о вас такое, что даже сам ваш пастух, Юрочка Беловолк, не знал никогда.

Их глаза встретились. Алла шепнула себе: «Только не побледней. Только держись».

Она распахнула зев крокодиловой сумочки, вытащила журнал. Раскрыла его на измусоленной ею странице. Поднесла к лицу Павла Горбушко, к самому носу.

– Вы знаете, кто тут сфотографирован? Кроме меня и моего бедного... мужа, конечно? Кто?

Горбушко взял журнал в руки. Его прищур стал режущим, стальным. Он рассматривал фотографию, а Алла исподтишка рассматривала его лицо. «Похож на солдата, – решила она. – Подбородок как тесак, лоб как лопата. Взгляд наглый, глаза как две пули. Так и летит навывлет, через тебя. Журналист разве таким должен быть? Журналист – это тихая сапа, он должен вползти, как змея, втереться в доверие, собрать информацию. А этот! Рубит наотмашь, как топор. Сразу видно, человеку неохота зря время терять».

– А вы не знаете?

Снова этот взгляд, резкий, режущий надвое. Полоснувший по лицу, вошедший под ребро, как нож.

Алла постаралась придать своему голосу кошачью вкрадчивость, мягкость.

– Я спрашиваю вас, Павел, не потому, что...

Тишина. Звон хрустальных висюлек в тишине.

– Я знаю, *почему* вы меня спрашиваете.

После ужина с Горбушко в «Парадизе» Алла так помрачнела, что никакой Беловолк с его жесткими приказами: «Делай то! Делай это!» – никакая суровая Изабелла с ее каждодневной муштрой – тренажерный зал, шведская стенка, сорок отжиманий от пола, ледяной душ, – не могли выжать из нее ни слова. Ни чувства. Ни шевеленья глаз в их сторону. Алла смотрела мимо них. В пространство.

Игнат Лисовский после той ночи с ней звонил два раза. Оба раза, услышав его голос в трубке мобильного, Алла обмирала. «Да, мы можем увидеться. Конечно. Но не сейчас, Игнат». Она не стеснялась назвать его по имени, даже если рядом стоял Беловолк. Когда Игнат позвонил, а Алла и продюсер завтракали, она нарочно подчеркнула, здороваясь: «Да, милый господин Лисовский, это Люба, вы угадали». У Беловолка было такое скошенное лицо, что на нем читалось: я-то уж знаю, голубочки, что вы давно не на «вы». Алла знала, что Игнат не верит тому, что она – Люба. «Увидимся после моих парижских гастролей. Чао». Она нажала зеленую кнопку. Огонек погас. «Твой кофе остыл, Люба». Она развернула газету, лежащую рядом с кофейной чашкой. «Вот как, меня снимают папарацци уже в постели. Это вы меня сфотографировали, когда я сплю?» Беловолк усмехнулся: «Ты же здесь не спишь, а бодрствуешь. У тебя открыты глаза». Он вырвал газету из ее рук, захрустел ею, скомкал. «Иногда мне кажется, что ты и вправду Любка. И что я вас сделал подряд, как матрешек. Одну и другую. Что тебе предлагает младший Лисовский? Руку и сердце? Так сразу?» Алла выпила кофе залпом, обожгла язык. «Он спрашивал меня, хочу ли я пойти на выставку Пикассо из французских коллекций на Крымском валу. Я ни черта не понимаю в живописи, Юрий. Пойти, что ли? Что, я Пикассо в Париже не посмотрю?»

Игнат позвонил мне и ударил мне прямо в лоб: «Давай пойдём на выставку Пикассо в ЦДХ и заодно зайдём к одному моему дружескому. Там, в галерее „Альфа-Арт“... Знаешь, у нас с Женькой был дружеский. Он сделал паузу, и я чуть не выматерила его по телефону. Это молчание сказало мне: «Ну, ведь ты же не Люба, ты же не знаешь». Ну и что, сердито спросила я, при чём здесь дружеский? А при том, затрепетал он как трещотка, что именно ему, этому дружескому, ты можешь показать ту презабавную вещицу, ну, ту, о которой ты говорила мне тогда... ночью. Черт, когда я могла разболтаться ему о Тюльпане? Неужто я так перепила? Неужели на меня так подействовал секс? Он же на меня не действовал особо никогда. Я всегда владела собой, у меня все всегда было как в аптеке. «Какую вещицу?» – спросила я невинно. «Железный цветок», – ответил Игнат безошибочно, и я поняла, что прокололась. Я действительно, в бреду ли, в забытии, растрепалась, рассказала. А может, даже и показала, если сильно пьяна была. Я же его с собой в сумочке всюду таскаю, как талисман. Не помню. Ничего не помню, хоть убей.

Пикассо так Пикассо. Дружеский так дружеский. «Пойдём, – сказала я, – а я кто, твоя Девочка на шаре, что ли?»

И мы пошли.

И мы пришли в этот дом, Центральный Дом Художника, где я никогда не была, очень он был мне нужен, этот Дом, я никогда не интересовалась живописью и художниками, правда, мы с Серебро вели странную дружбу с двумя нищими художничками, торчавшими со своими картинками около гостиницы «Интурист»; художнички были бородаты, низкорослы, грязны и похожи на две дворницких метлы, а глаза у них сияли чисто, будто ключевая вода. Они дарили нам маленькие картинки, написанные маслом на картонках, и называли нас ласково – «путанки». «Эй, путанки, привет, гребите сюда скорей, есть чего выпить, Вася продал этюд, у него коньяк во фляжке!..» Что за имя – Пикассо? Мало что оно мне говорило. Да, краем уха я слышала, что был такой художник, ну и все, пожалуй. И когда мы вошли в залы, увешанные его работами, я поразились: и это все намалевал один человек?!

Мы шли через анфиладу залов, и Игнат искоса взглядывал на меня, будто я была блестящая елочная игрушка. «С кем ты будешь встречать Новый год?» – «Ни с кем». – «Это что же, одна? И даже без Юры?» – «И даже без Юры». – «Глупо. Я тебя приглашаю, – он помедлил, – в хорошую компанию». – «Посмотрим». Мне не хотелось отказывать ему с ходу. Пусть лелеет надежду. Мы оба все знали друг про друга. Он – что я не Люба. Я – что он знает, что я не Люба. «Слепой сказал – посмотрим?..» Я рассмеялась невесело.

Под цветными перекрестными сполохами вызывающе-странных картин мы завернули за угол, и я увидела над дверью медную табличку с выгравированной надписью: «Альфа-Арт». «Сюда, – сказал Игнат тихо, – заворачивай. Тишина какая тут, звенит в ушах». Мне казалось – звенели золотые музейные тибетские колокольчики над входом в новый, непонятный зал. Антиквар, как это оригинально. Спросить бы Игната: а что, дорого стоят такие вот вещицы? Такие, как мой... железный цветок? И что бы он мне ответил? «Твой железный цветок никому не нужен, крошка. Это мусор, лом. Выкинь его к чертям».

Я ж его не на помойке подобрала, Игнат. Не на помойке. А у Любы дома.

Здравствуйте, – сказал выплывающий нам навстречу из глубины зала, уставленного драгоценными старинными вещами и увешанного старыми, в разводах кракелюр, картинами в тяжёлых золоченых багетах, высокий, худой чуть седоватый, перец с солью, человек с заметной раскосостью узких, как две уклеи, длинных глаз, – здравствуйте, о, гости дорогие, Любочка, давненько у нас не были. А, Игнатушка, привет, привет. С чем пожаловали?.. Обрадовать хотите?.. Помните, Любочка, как я вас три годочка назад обрадовал, а?.. Вот радость-то у вас была, вот радость... Удружил я вас, удружил... Вы уж, пожалуйста, этого не забывайте...

Черт, «не забывайте». Я не знаю, о чём он.

Не забуду.

Рука моя сама полезла в сумку. Я не хотела доставать Тюльпан, и все-таки я достала его. Разжала кулак. На моей ладони лежала эта странная металлическая вещь, да какую, к чертовой матери, ценность она представляла?.. никакой, судя по всему; и она так странно, дико волновала меня, и она прожигала кожу моей сумки, жгла мне руку, жгла душу, – а может, мне жгла душу та ночь с Любой, когда Любу убили, и то, что я стала Любой, тоже дьявольски жгло душу мне.

– Покажите.

Да, взгляни, Бахыт, – небрежно бросил Игнат, косясь на Тюльпан на моей ладони, – Любочка носится с этим цветочком, не знает, куда девать. – Казалось, он даже не удивился. Будто знал, ЧТО ЭТО ТАКОЕ, сто лет. – Сасаниды?.. Или, может, Великие Моголы?.. Или династия Тан?..

Антиквар, которого поименовали Бахытом, – спасибо тебе, Игнат, теперь я хоть буду обращаться к нему по имени, улыбаясь, – бережно принял у меня из руки железную игрушку.

Ни то, ни другое, ни третье, – тихо промычал он, вертя железный бутон в пальцах. – Ни то, ни другое и ни третье, Игнатушка. Не Великие Моголы... а монголы. Скорей всего, Чингис. Или чингизиды. По крайней мере,ковка монгольская.

Может, хунну?..

На хуннскую сталь не похоже. У хунну выделка грубее, неправильнее. Если только... если только это не искусная подделка. Уж больно блеск нов и свеж. Будто вчера из-под ювелирного молоточка. Впрочем... Оставьте, Любочка?..

Под расписку, – мои губы пересохли.

Брови антиквара Бахыта поползли вверх над узкими, прищуренными в смехе глазами.

Вы же всегда... хм!.. без расписочек оставляли... Вы же всегда доверяли мне, Любочка!.. Или я, – он приосанился, и я ощутила, как выпятились, заторчали у него под пиджачным сукном все мослы и кости худой фигуры, – уже не вызываю у вас прежнего доверия?.. Да-а, изменились вы, как-то... – он развел руками, – похудели... Гастролей много?.. Или...

По мужу тоскую, – грубо кинула я. – Червь точит. Не могу забыть.

А, ну да, да, – он упрятал вбок, отвел насмешливую раскосость взгляда, – конечно, пережить такое... такую трагедию...

В антикварном зале пахло пылью и чуть-чуть ванилью. Мне казалось – они оба, Бахыт и Игнат, знают, кто я. Знают все. Смеются надо мной.

Я ощутила во всем теле легкую, неприятную дрожь. Будто бы я стояла на крыле летящего самолета, чувствуя все содроганья двигателя.

Так оставляете?..

На три дня, – губы мои шершавились, как наждак. Игнат смотрел на меня с возмущением, как жеребец на кобылу.

Хотите посмотреть картины?.. Новые поступления... Вот недавно Тенирса принесли... Жанровая сценка прелестная, в таверне... Сейчас западная живопись не в моде, сейчас особо ценится русский девятнадцатый век... салонный... Маковский, Семирадский, Харламов... сто тысяч долларов, извольте, вот эта вещь... царица Лебедь выплывает на лебедях к князю Гвидону... крылышки-то как прописаны!..

Бахыт поцеловал свои пальцы, почмокав губами. Меня уже била дрожь отвращения. Я хотела вон отсюда. На воздух. На улицу. В снег. Через три дня я приду сюда. Я заберу Тюльпан обратно.

Если тебе отдадут его, дура.

Антиквара звали Бахыт Худайбердыев. Он не дрогнул тонким усом, вертя Тюльпан в руках. Я не оставлю вещь. Ну, не оставляйте, дело ваше. Эта штука сколько стоит? А

смотря где, дражайшая. В Брюсселе?.. В Гааге?.. На Кристи?.. На Филипсе?.. На Сотбисе?.. Дайте, я пороюсь в каталогах. Ройтесь на здоровье. Вам что, некогда ждать?.. Игнатушка, напои Любочку кофе, у меня есть дивный кофе из Венесуэлы, натуральный. Не нужна мне твоя растворимая бурда, Бахыт, хоть она и от латиносов. Так не оставите?.. И под расписку?.. Вашей распиской можно подтереться. Любочка, вы раньше не были такой... невежливой. Не тяните kota за хвост. опишите мне эту вещь устно. Расскажите мне все о ней. Я заплачу.

Он смотрел на меня как на идиотку. «Стоимость вещи, как минимум... навскидку... э-э-э... триста тысяч долларов. Учтите, дражайшая, это не аукционная цена. Один процент, как минимум, от этой цены, если вещь продается, за экспертизу я обязан взять». Я глядела на него, как на жабу. Раскосое лицо смеялось надо мной, расплывалось в улыбке. Они оба морочат мне голову. Бежать отсюда. Бежать. «За письменную экспертизу, Бахыт». Мне смертельно хотелось курить. В музее не курят. В антиварной галерее не смолят. «Письменную экспертизу я даю, если вещь оставляют мне на исследование с тем, чтобы продать ее. Мне или кому-либо другому. Кто покупатель, неважно. Важен факт продажи. Но вы же, Любочка, не хотите...» Я щелкнула замком сумочки. Игнат вытаращился на меня, как баран на новые ворота. Я вытасила из сумочки и отсчитала Бахыту – сотнями – ровно три тысячи баксов. Пять тысяч сегодня утром выдал мне Беловолк, чтобы я заказала для гастролей в Париже новое платье в салоне Кати Леонович, шинилловый полушубок и туфли с золотым бантом, инкрустированным мелкими алмазиками, у Армани.

••• ••• •••

*Луна в черноте.
Сосновые иглы
Колот мне сердце.*

Басе

Мелкая морось. Запах сырой пустоты.

С Океана здесь всегда несет запахом сырой пустоты. Он никогда не привыкнет.

Какие тяготные эти задворки Нью-Йорка, где он нынче обитает. Он никогда бы не подумал, что он так будет жить. А впрочем, именно так и надо было ему думать о себе. Художники всегда так живут. То густо у них, то пусто. Разве в России не так было у него? Зачем он уехал из России?

Рембрандт тоже был богат, одевал свою Саскию в шелка и рытый бархат, нацеплял на нее натуральные японские жемчуга, яванские кораллы, что он покупал в еврейских лавках Амстердама за баснословную цену. А потом... Потом умерла Саския. И умер Титус. И он разорился. И распродал все до жемчужинки. И приходили кредиторы и трясли его. И судьи кричали в суде: с вас причитается, господин ван Рейн! С него, с Ахметова, тоже причитается. Он разорился.

Он разорился разом, внезапно, быстро до смеха. Он даже сам не понял, как это получилось. После хором на Манхэттене, после фешенебельной «Залман-гэллери» – эти трущобы в Джерси-Сити, этот полуподвал в краснокирпичном доме двадцатых годов, решетки на врытых в землю окнах, черные скелеты пожарных лестниц по красной, как кровь, стене. Галерист Сол Залман, старик Соломон, выставивший его на Манхэттене в своей знаменитой галерее и продававший дорого, так дорого, как и не снилось Энди Уорхоллу и Мише Шемякину, был найден однажды утром мертвым в офисе. Поговаривали разное. Скорей всего, старика Сола убили соперники. В Нью-Йорке нельзя безнаказанно становиться богатым и знаменитым. Соперника уничтожат всегда. Это жестокий мир, и тут надо бороться. Мускулы твои должны быть железными, парень, не то волки с железными зубами тебя съедят и косточки сжуют. У тебя оказались железные мускулы и железные кости, Канат, ты прокололся лишь на одном, не рассчитал. Ты взвесил свои силы, но не рассчитал, что тебя предаст женщина.

Женщина. Никогда не заводи себе женщину. Никогда не бери женщину в дом; никогда не женись на ней; никогда не дружи с ней. Женщина – это порождение темной ночи. Ночь всегда опасна. Ночью люди рождаются и умирают. Ночью жены бросают мужей.

Он очень любил жену. Жена сбежала от него в Италию с любовником. Она сбежала от него ночью. Когда он спал. Выпросталась из-под одеяла, выгнула хребет, как кошка, беззвучно, по одной половине, прокралась в другую комнату, где у нее все было приготовлено для побега, вещи сложены в дорожную сумку, запрятанную под диван.

Он очень ее любил. Он так любил ее. Он любил перебирать ее мелкие черные кудри, густой волной, тяжелым крылом черной птицы ложившиеся на смуглые, лоснящиеся от загара и кремов плечи; он любил целовать ее длинные, как у креолки, жгуче-черные – зрачки сливались с темной радужкой – бешеные глаза, искрящиеся то ли неистовым смехом, то ли отчаянием. «Черный жемчуг, – шептал он, – твои глаза черный жемчуг». Он любил писать ее – и в одеждах, и обнаженную, и голая она была еще красивей, чем в тряпках, и его кисть плясала по холсту, высвечивая в ней то, что другие глаза никогда не увидят. Как вышло, что она завела себе любовника? Разве это когда-нибудь угадаешь? И предотвратишь... Ты же не предотвратишь свою собственную смерть, думал он, выдавливая остервенело краски на палитру, ты же

бужешь жить и жить, пока не умрешь, но ты не знаешь часа своего; и ты не приблизишь смерть, ты же не самоубийца. Когда он понял, что она ушла, убежала от него ночью, ему захотелось стать самоубийцей. Он позавидовал Славке Смолину, повесившемуся пятнадцать лет назад в старом сарае в деревне Филимоново, куда он поехал на этюды. Какая муха укусила Славку, он не знал; братва называла его Эль Греко, – не меньше. Кем бы ребята назвали его теперь? Они все думают – он богат и счастлив, на вершине земной славы; матерятся, досадуя на свою нищету. А он вон уже где. На самом дне.

Остаться одному – как это погано. Он остался один.

Он чувствовал себя нью-йоркской поганкой, растущей под стеной краснокирпичного унылого дома времен Великой Депрессии.

Пока у него еще были деньги на счету – он снимал их со счета и снимал себе квартиры, съезжая с них, меняя их одну за другой; когда деньги заканчивались, он подыскивал себе жилье подешевле. Вы знаменитый мистер Ахметов?.. «Я его однофамилец», – мрачно шутил он. Его зубы желтели от табака. Что ни день, он шел в банк, засовывал карточку в банкомат и снимал доллары, снимал, снимал. И шел в ювелирные лавки – как тогда, при ней, вместе с ней. Как она любила копаться в украшениях! А он любил их ей покупать. Теперь он покупал бирюльки один. Складывал в карман настоящие ожерелья, поддельные серьги, неистово сверкавшие – хоть сейчас на президентский бал в Белом Доме – алмазные колье, мишурную бижутерию, стоившую у негров близ статуи Свободы два доллара – для туристов. Вместе с камнями он покупал и ткани. Ему нравились дорогие ткани – и блестящие, и матовые, переливы бархата, перламутровая свежесть атласа, павлинья роскошь китайских покрывал, расшитых хризантемами и райскими птицами. Он был художник, и он был восточный человек. Ему нравилась роскошь Востока, и он любил ее живописать. Он раскладывал купленные ткани на стульях, столах, на спинках кресел, налаживал мольберт, устанавливал холст, давил краски из тюбиков, писал и плакал. Кисть выводила блики на атласе, а он плакал об ушедшей жене, называя ее то непотребными, то нежнейшими именами. «Она имела право на свободу, – шептал он себе, – имела, ты же не можешь это право у нее отнять».

Краски пахли терпко и остро, как фрукты ди маре. Океан был совсем рядом. Комнаты менялись, он переезжал, снимая все более дешевые, и все меньше вещей становилось у него – лишь угловатый, как скелет, мольберт оставался неизменным. Он научился много и жадно курить, покупал все более дрянные сигареты, наловчился курить табак, раскуривал трубку, крутил «козьи ножки». В комнате, уже нищенской, голой, пахло разбавителем, лаком, подсыхающим на холсте маслом – он писал картину, как всегда, подолгу, тщательно накладывая лессировку за лессировкой. Кровать он застилал уже не бельем – странными тряпками: дорогими атласными драпировками, ободранными свитерами, старыми сэконд-хэндовскими плащами, купленными за гроши, кусками рытого бархата, вышитого искусственным жемчугом. «Я Рембрандт, – шептал он, – я Рембрандт. Саския, зачем ты уплыла к этим козлам, к красным кардиналам. Я тебе никогда не прощу». Когда он называл ее шлюхой, ему на миг хотелось шлюху. Он надевал плащ, всовывал в зубы сигарету, выходил на улицу, слонялся, заглядывая в лица женщин. Проститутку было видно издалека. Они ошивались обычно у ночных баров. Отловить их не составляло труда – они сами вешались на шею. «О, бэби, какой ты класный!.. пойдём?.. а сколько дашь?.. от тебя пахнет скипидаром, ты что, с автозаправки?..» Когда он говорил, что художник, – девки визжали: «А нарисуешь?!» Он обещал нарисовать – и держал слово. Он приводил шлюх домой, кормил тем, что валялось в холодильнике, поил – обычно покупал спиртное подешевле в маркете поближе, – варил им кофе, подносил в старинной, антикварной чашечке на серебряном подносе – жена любила пить кофе из этой чашечки. Шлюхи хохотали: ах, как мило! Он шептал: сиди тихо, вот так, так, я буду тебя рисовать. Он писал их маслом, ловя их движения, повороты их голов, раззявленность распутных губ, и, случалось, он засыпал

за мольбертом, падая лбом на палитру, вымазывая лицо в краске, а девки, порывшись у него в закромах, в карманах и в тощем кошельке, дочиста обирали его, ошипывали, как липку.

Красные буквы льются по стеклу. Красные буквы льются, льются.

Он смотрел на буквы пристально, будто хотел их вырезать из стекла, унести с собой, наклеить на холст, – присвоить. Красок у него уже было очень мало, он не мог себе купить красок столько, сколько покупал там, в Америке. Он вернулся сюда нищим, и здесь он был нищим. Какого цвета дно? Дно грязно-серого цвета, подчас – темно-зеленого, этот тон может взять сиена жженая, смешанная с густым волконскоитом. Жизнь на дне мира полна чудес колорита. Живи, радуйся, наблюдай. У него не было достаточно красок, и он приспособился – он делал картины из чего угодно, краски уже были необязательны.

Он делал картины из старых досок; из разломанных ящиков; из обрывков тряпья; из клея и зубной пасты, и засохшая зубная паста, обмазанная клеем, вполне сходилась за роскошные голландские белила; он, сладострастно, со свистом всасывая слюну, задыхаясь в упоении и самозабвении выдумки, даже швырял грязь, обычную уличную грязь на холст, сделанный из распоротого мешка из-под картошки, и думал о себе: ай да я, отлично придумал, вывернулся. Вывернулся из-под судьбы?.. Иной раз у него покупали его странные картины, сделанные им из того, на что люди плюют, обо что вытирают ноги, во что кладут одежду и овощи, пахнущие землей. Покупали дешево, прельщаясь именем: а вы не тот самый Ахметов, случайно?.. – и когда он мрачно качал головой: нет, не тот, вы ошиблись, – у покупателя лицо вытягивалось: как жаль, что волшебство кончилось, а мы просто, ну так уж водится на Руси, помогли бедному художнику.

И совсем недавно он сделал картину из старой двери старого гаража. Он нашел эту дверь уже оторванную – она валялась на снегу, – подошел к ней, прищурясь, и в свете зимнего солнца на исчерканном времени, кроваво-ржавом железе сверкнул цветок.

Он отступил на шаг. Наклонил голову. Цветок исчез. Он шагнул ближе – и ослепительный металлический тюльпан проступил так явственно и грозно скоплением иглистых, морозно-колких звезд, так больно хлестнул высверком по глазам, что он попятился и закрыл рукой лицо.

У него была такая картина в Америке. Давно. Он написал ее с натуры.

У него когда-то был такой вот железный цветок. И он перенес его на холст. И на холсте приделал его к телу женщины. Дышащее соблазном, раскинувшее ноги смуглое тело. Стальной цветок – вместо лица. Страшная работа. Он боялся ее. Он никому ее не показывал, ставил холст лицом к стене. Правда, дотошные друзья любопытствовали. Она была еще сырая, когда однажды один ушлый французик, заезжий режиссер, цапнул ее, развернул к себе – и захохотал: «А где лицо у твоей бабы?!» В ту ночь он напился до чертей.

Он изрезал картину ножом в припадке пьяного отчаяния. Дурак он был! Он ее повторит. Ничего, что нет красок, холста. Он теперь мастер инсталляций. Он научился делать искусство из предметов, из мусора, грязи и лома, из мертвых молчащих вещей, окружающих нас.

Он доволот отломанную дверь до своего жилья. Жилье у него было в подвале. Там было тепло и сыро. Слава Богу, батареи все время дышали теплом, не надо было мучиться с дровами, топить печку. Предыдущее его жилище извело его печкой. Он не умел, не мог заготавливать дрова. Истопив весь зимний запас в два месяца, он мерз, грея руки под мышками, покупая самую дешевую водку, какую мог разыскать. А здесь было хорошо. Райское блаженство.

Он положил лист старого корявого железа на пол и долго смотрел на него. Надо сделать из этого вещь. Он всегда умел делать красивые вещи.

И он стал работать.

И он работал долго и жестоко.

И, когда железный тюльпан проявился ясно и ярко, выступил из ржавой тьмы, мерцающая металлом холодных лепестков, он засмеялся хрипло и довольно.

Тот, настоящий Тюльпан пропал. Тот, давний, который ему сделали, чтобы...

Тс-сс. Чтобы ничего. Нельзя об этом. Не думай больше об этом никогда. У тебя есть другой цветок. Двойник ТОГО. Ты же художник. Ты сделал себе новую игрушку. Утешься. Ты дома, в России, ты сдохнешь дома, не на чужбине, и у тебя снова есть Тюльпан. Что тебе еще нужно?!

Тот Тюльпан не пропал. Не ври себе.

Ты же видел его в ресторане.

Там, где ты всегда пьешь свою водку.

У той девицы с черной челкой. У той дивы. У знаменитости. Она показала его тебе тогда. За окном. Или это тебе, Ахметов, приснилось?

А если она узнает?!

Она ничего не узнает. Откуда?!

Все тайное становится явным, Канат. Ты же знаешь это. Все тайное когда-нибудь становится явным и страшным.

Я выяснила. Я выяснила все.

Черт побери, об этом же можно было догадаться. Догадываются догадливые, а туполобые утки вроде меня громко машут крыльями, прежде чем взлететь, – и, когда взлетают, меткая пуля бьет их влет, как и задумано.

Я выяснила, что у этого сволочного папарацци записано – дотошно, скрупулезно, как в Библии, как в амбарной книге – как в Интернете – все, касающееся закрытого дела об убийстве Евгения Лисовского. Это бы еще полбеды.

У него, в его дьявольских журналистских записных книжках и в электронном блокноте, который он таскал с собой, как визитку, в нагрудном кармане, было зафиксировано все, касающееся убийства Любочки Башикирцевой.

Он действительно был помешан на ней. Помешан до того, что... вынюхал даже это?! От кого?! От Юрия он все узнал?! Не может быть. Беловолк молчал бы как рыба. Разве только под пыткой... Горбушко не Малюта Скуратов и не эсэсовец. Потом, жилистый и спортивный, вооруженный – я теперь это знала – Беловолк уложил бы его одной левой. Кто ему все так подробно рассказал?! Кто?!

– Нет, вы послушайте, пожалуйста, послушайте. Ваши уши не заболят. Почему вы отворачиваетесь? Вас что-то пугает? Вам что-нибудь неприятно? У нее на шее была рана от длинного и острого предмета, наподобие ишлы. И женщина, которая была с ней в ночь убийства, испугавшись, сбежала, но продюсер Башикирцевой смог ее отыскать, припугнул, как мог, и стал делать из нее двойника. Почему вы плачете? Я рассказываю что-то трогательное?

Я закусила губу, я кусала губу до крови, но дикие, идиотские слезы ползли, как горячие змеи, по моим щекам.

– Вы думаете, что вы скажете мне все это, и игра закончится?!

– Почему же. Игра только начинается. Игра, как известно, всегда стоит свеч. И вы еще не загнанная лошадь. Вы только начинаете скачки. Я думаю, вы будете иметь успех. Все верят, что вы Люба. Народ верит. При желании Любу можно было бы воссоздать даже посредством компьютерной графики и пускать этот мультяшник по ящику. И народ верил бы точно так же.

Я схватила со стола зажигалку.

– Вы слишком много курите для певицы... Люба. – Насмешка в его голосе испугала меня. Слишком жестко она прозвучала, как угроза. – Кстати, как ваше настоящее имя? Вы подтверждаете то, что я вам прочитал?

– Протоколист. – Я задыхалась от бессилия. – Сволочь. Сучонок вонючий. – Я вспомнила все свои вокзальные ругательства, что я выпаливала в рожки сучьим клиентам, если они, пытаясь зажильить деньгу, норовили улизнуть от меня, облаять, а то и ударить. – Куриный помет. Откуда ты...

– Мы с вами еще не переишли на «ты», дорогая. Люба мне слишком, – он подчеркнул это «слишком», – слишком дорога, чтобы я стал щадить такую...

– ...дешевку, как я, договаривай, гад.

– Такую прожженную тварь, как вы. Итак, вы подтверждаете, что все это правда?

Я резко вытерла глаза выгнутым запястьем.

– Ты, гаденыш. Я покупаю.

– Что – покупаете?

Он смотрел наигранно-непонятливо. Я обозлилась.

– Я покупаю у тебя этот материал. Сколько?!

– Играете в богатейку?.. – Горбушко процедил меня, как через сито, через медленный, пристальный, издевательский взгляд. – Славная бедная девочка, хочет поиграть в богатейку. Не каждый раз такое случается.

Он внезапно встал. Вырос надо мной. Взял меня рукой за подбородок. Крепко сжал мой подбородок жесткими пальцами.

– Я продам этот бесценный материал только за суперденьги... или вообще не продам. Это мое будущее. Это моя слава.

Он стоял, держал мой подбородок в жестких пальцах, тяжело дышал, сопел надо мной, и я ненавидела его больше всего на свете. Кровь бросилась мне в голову. Сейчас я могла бы его убить.

Он замолчал, выпустил из клещей-пальцев мое лицо. Я брезгливо отвернула голову. Все-таки выбила из пачки сигарету. Все-таки крутанула колесико зажигалки.

– Вы не Люба. Хотя играете искусно. И внешне все сработано – не придерешься. Как вам это удалось? Впрочем, это удалось не вам. Беловолку. Вас хорошо вышколили. И вы блестящая актриса. Вы будете еще долго дурить публику. Пока я...

Сволочь, я знала, что он сейчас скажет, сволочь.

– Пока я не открою эту тайну публике... через все газеты... через все телевидение и радио... через Интернет.

Снова молчание. Мне стало по-настоящему страшно.

Страшнее, чем тогда, когда я своим девкам, Акватинте и Серебро, трепалась обо всем. А может, это они?! Ну не дури. Горбушко не мог их найти. Он же не шпионит за мной. Он же не ходит за мной по пятам. Не висит на хвосте у моего «кадиллака».

– Чем мне купить вас, чтобы вы, сумасшедший, не обнародовали все это?!

Я крикнула это громко и хрипло, как прокуренная шалава Лизавета с Казанского. Она, юродивая, слонялась по вокзалу, моталась как помело, хрипло выкрикала: «Я пирожок! Я пирожок! Кусай все, кому не лень!» Я тоже была пирожок. Вот – докусались меня. Уж лучше бы сразу сожрали.

Молчание. В полном молчании зазвенел гонг.

Это звенело у меня в ушах.

– Правдой. Вы скажете мне правду. Кто убил Любу.

Горбушко прямо посмотрел на меня. Посмотрел мне в глаза.

И я посмотрела ему прямо в глаза.

И в его глазах я увидела свет безумия, блеск взгляда маньяка, смертельно влюбленного пса, идущего по пятам древнего ужаса.

– А если не скажу?..

– Воля ваша.

– У меня... есть время подумать?..

– Есть.

– Сколько?

Молчание. Молчание висит, мерзнет лицо. Пальцы сжались в кулак. Костяшки пальцев.

Костяшки.

Костяшки стучат. Ты была права, Серебро. Часы пошли. Костяшки застучали.

– А если... я не знаю, кто это сделал?! По-настоящему не знаю?!

– У вас есть время узнать. Это в ваших интересах.

Я вглатывала в себя дым, как больные глотают из подушек кислород.

Теперь у меня два поводка. Два. И два хозяина. Все на свете имеет пару. Все раздвоено. Раздвоена судьба. Раздвоена жизнь. У человека две руки и две ноги, два глаза и два уха, и две губы у рта; и только сердце – одно. Может, я феномен, и у меня два сердца. Два хозяина – Беловолк и Горбушко. И второй – пострашнее будет. Беловолк выжмет из меня все, как из певицы. Он понял, спасибо, браво Мише Вольпи, что у меня талант к пению, что я не только мордой похожа на Любу, но еще и певицей оказалась неплохой, и он задался целью – сделать на мне деньги, еще деньги, еще, еще деньги и славу; Люба была его творением, она умерла, и он, чтобы утешиться, сделал двойника. Беловолка еще можно было понять. Я даже на миг восхитилась им: это он сделал Любу бессмертной, а меня – ее продолжением! Но Горбушко...

Горбушко сдаст меня как убийцу, если я не найду ему правду.

Цена правды – жизнь.

Что ж, так было всегда.

А ты бы, дрянь с Казанского, хотела, чтобы было все по-другому?!

••• ••• •••

*Смотрю на меч,
И течет роса по нему.
Холодное утро.
Я улыбнулся:
Плачет и твердая сталь.*

Бесе

– Хунну пользовались широкими и короткими мечами. Они предпочитали сражаться тяжелыми, не особенно длинными коваными мечами, такие мечи висели у них на кожаных поясах в плетеных ножнах. У чжурчжэней имелось оружие гораздо более изощренное. Мечи разных видов, и длинные, и короткие, а также разнообразные ножи, несколько сотен и даже тысяч видов ножей. Китайцы, жившие на берегу моря, в портовых городах, и имевшие связи с другими странами, встречая иноземные корабли или посылая в далекое путешествие корабли собственные, привозили издалека чужестранное оружие, и китайские мастера перенимали заморский опыт. Видите, этот нож хоть и сделан на Востоке, а формой он напоминает наваху, нож-рыбу иберийцев. Такой нож если метнуть – он пронзает грудь навывлет, не хуже пули. Таким ножом можно убить даже быка, если умело перерезать ему горло. Вот нож для жертвоприношений, кстати. Он выгнут слегка, но не как ятаган, похожий на серп Луны, а чуть-чуть, как рыба чехонь. Да, он на чехонь и похож. До чего красивый. Если его лезвие остро заточено, оно без труда перерезает глотку даже самому сильному зверю – хищнику: медведю, барсу. Охотники в горах охотились с такими ножами на снежного барса ирбиса. На Востоке было также и хитрое оружие, которое было скрыто в разных... Вы спите?.. Зачем вы спите?.. Не спите...

Тени ходили по потолку. Человек, тихо и монотонно говоривший, оторвался от книги. Книга лежала перед ним вверх ногами. Он ощупал пустой стол, как если бы на нем лежали вещи. Он видел эти вещи. Он видел ножи и мечи и иное оружие. Он любовался им. Он медленно произнес, глядя в угол:

– Не спите, прошу вас. Я не рассказал вам самое интересное.

По потолку ходили тени, и казалось, что в кресле кто-то сидел. Может быть, там и впрямь кто-то сидел. Говоривший минуту подождал, потом успокоенно выдохнул:

– Ну вот, так-то лучше. Глазки открылись. Слушайте, дорогой мой. Вы же теперь ее муж, а раньше я был ее мужем; когда я думаю о том, как моя жена ложится под вас, как она раздвигает перед вами ноги, мне хочется завывать и кинуться головой в снег, и так замерзнуть. Но, видите, я жив, и я рассказываю вам всякие забавные вещи и показываю разное оружие. Зачем?.. Для того, чтобы вы... ха-ха, переняли опыт... скопировали... слямзили... сделали точно такое же... такой же нож, такой же вот меч... и убили... убили вашу и мою жену?.. О нет, вы никогда ее не убьете... Мою Риту... мою...

Тень на стене кивнула длинным птичьим носом. В теплом затхлом воздухе пахло табаком. Говоривший возобновил гундосую, мерную речь.

– И вот, поглядите-ка, я еще не показал вам, самое великое оружие – нож для метания вдаль, им можно убить, только если бросаешь его... Когда он летит, он блестит нестерпимо... Его бросают в плясунью на арене цирка, во взбесившуюся лошадь... в неверную жену... Она танцует и закрывает живот рукой, нагой живот, перламутровую грудь, ах, как ее можно написать, кадмий красный густо разбавить белилами, стронциановой желтой, чуть охры добавить... всего два мазка... она пляшет и знает, что сейчас умрет, что все равно я брошу нож, что все

равно ты бросишь нож... Это японский нож, это нож самураев, столь же знаменитый, как самурайский меч, и зачем, зачем ты его не сделал мне, ты, собака, лучший друг...

В круге света от лампы, прикрытой драным абажуром, клонилась голова. Волосы тускло блестели сединой. В сморщенном ухе мерцала старым золотом, как слеза, золотая серьга.

Он был один. Нет, их было двое. И он пытался напомнить тому, другому, о том оружии, которое он сделал ему когда-то давно, там, в каменных недрах... – Шанхая?.. Иокогамы?.. Чайна-тауна?.. – по его страстной просьбе, в ответ на его слезы, его мольбу, его ужас, его ненависть.

••• ••• •••

Он тупо, набычившись, глядел сквозь стекло. Красная надпись, читавшаяся наоборот, уже не так будоражила его. Он уже не хотел сделать из этой надписи картину – разбить булыжником стекло, вырезать стеклорезом алые буквы, унести домой, наклеить на мешковину. Как бы он назвал такое полотно? Он бы назвал его: «Кровавая Мэри». Повсюду пьют коктейль «Кровавая Мэри», не только в Америке. Они с женой тоже пили его. Жена очень любила грубые коктейли, грубую еду. Любила жареное испанское мясо с бобами, алжирский кус-кус – рис, мясо, вареные овощи. Вино пила кружками. Водку – как извозчик, сказали бы сто лет назад. Теперь в Москве нет извозчиков. А вот в Вене есть, по улицам Вены снуют старинные фиакры. Туристический бизнес, доход, деньга в городскую кошину. А Нью-Йорку не до извозчиков. Нью-Йорк скоро подохнет от автомобилей. Кровавая Мэри, кровавая Кармен, кровавая Машка. Эй, Машка, сюда!.. Развелось проституточек. Так и шныряют между столов, снимают клиентов. Интересно, сколько они отстегивают официантам? Барменам?..

О, опять эта козочка. Она мелькает здесь не впервые. Тоже шлюха?.. Не похоже. Богато одета. А что, богатых шлюх, скажешь, не бывает?.. В наше время все бывает. Чудесное время, Господь, доложу я Тебе. Спасибо, что Ты все так устроил. Ты показал нам, что будет, если мы прорубим окно в Америку. Прорубили. А топор-то наш, старый, русский, тупой. И ко дну идет быстро, стремительно. Куда идешь, козочка?.. Сядь ко мне. Я старый и немного пьяный, ну, да это ничего.

Он разлепил губы.

– Эй, крошка, иди ко мне. Посидим. Мне скучно.

Рука его согнулась в неловком зазывном жесте. Богато, во все черное – в черный шелк, в черный бархат – одетая дамочка смотрела на него во все глаза. «Сейчас плюнет мне в рожу», – подумал он. Она шагнула к нему, отодвинула стул и уселась за его столик.

Она глядела на него из-за наполовину опорожненной бутылки водки, и ее глаза горели напряженным светом, как лампы большого накала. Он не понял, светлые у нее глаза или темные. Черная челка свешивалась до бровей, лаково блестела. Она ему кого-то сильно напоминала.

– Ну, привет, – сказала брюнетка хрипло. – Посидим, значит? Еще пузырек закажем? И закуски. Ты сиди, – остановила она его властным жестом, когда он сунулся, так, для виду, в уже пустой карман, – я сама закажу. Я угощаю. Эй! Икры нам! Мясное ассорти! Хлеба, помидор! И пузырек, – выдохнула она в лицо подбежавшему, скалящемуся халдею, – «Гжелка» есть?..

– «Абсолютику» не желаете?.. – официант подмигнул. Ну конечно, они друзья. Девочка снимает здесь сливки. Работают вместе, прожженные.

Официант улизнул, и он опять воззрился на девицу. Сердце ныло от бередящего, зудящего, как надоедливый зуммер, воспоминания. Где он видел ее? Где? Она подперла лицо кулаками, облокотившись на стол. Рассматривала его, как если бы он был не Канат Ахметов, а редкий тропический жук.

– Рассматриваешь?.. Гляди, гляди. Осетрина бывает только первой свежести. – Он поморщился, губы его скривились. – Сто морщин, двести. А когда-то художник был красив.

– Вы... художник?..

Он качнулся вперед. Брюнетка возьмет им еще бутылку «Гжелки». Это изумительно. Это великолепно. Это так замечательно, что ни в сказке сказать.

– Я – художник. – Он сложил губы в трубочку, будто посылая воздушный поцелуй. – Я великий художник. Ты меня не знаешь. Я был когда-то знаменит. Картины мои – в коллекциях... королевы английской... президентов всяких... князей, магнатов... черт знает у кого висят мои картины... так вышло, крошка, что я вот тут сижу, ты уж меня извини. – Он пьяно

шмыгнул носом. – Так уж получилось. Не обессудь. С каждым бывает. С тобой вот тоже может случиться. А красоточка ты. – Он сильнее сощурил глаза, они стали совсем как две щелки. – Где-то я тебя видел, не вспомню никак.

Черненькая киска смотрела на него так внимательно, что ему стало не по себе.

– А ты меня узнала, узнала!.. Да, мои фотографии раньше в журналах печатали... давно, двадцать лет назад... тебя, крошка, тогда еще и не свете не было... с какого ты года?..

– Ни с какого. Витя, мерси!.. Ставь все на стол и исчезни, – черненькая быстро протянула ошалевшему официанту зеленую купюру, – на тебе, провались... – Она снова уставилась на него. – Ну, давай посидим, – весело сказала. – Ты забавный. Ты очень, очень хороший. Я тебя заметила давно. Я увидела тебя первый раз с улицы. Из-за стекла. Ты всегда тут водку пьешь? Почему ты был знаменит, а сейчас не стал?

Он смотрел на черненькую, коротко стриженную девушку, и ему было радостно, как в детстве. Если бы не этот странный, комарино зудящий зуммер внутри него, под ребрами, в висках.

– Потому что, – назидательно сказал он, улыбнулся, и его желтый клык выставился хищно. – Ничего нет нового под солнцем, все люди то воспаряют, то низвергаются в пропасть. А потом все становится костями и прахом. Понятно, крошка?.. Где я тебя видел?! – почти крикнул он, и из-за соседних столиков на него оглянулись возмущенно.

Она налила водку в рюмки сама. Чокнулась с его рюмкой.

– Давай за встречу, художник. – Ее блестящий глаз глядел озорно, завлекательно. Может, она уже где-то выпила? – Я-то тебя вижу впервые.

Он поднял рюмку. Поднес к глазам. Посмотрел на нее сквозь водку, как сквозь алмаз.

– Вспомнил, – вышептал он довольно. – Все вспомнил. Ты нью-йоркская певичка Люба Башкирцева. У тебя был концерт в нью-йоркском порту, для докеров, на открытом воздухе, в тот день, когда я... ну, словом, когда я убежал... уплывал... я... бежал!.. – он махнул рукой. – Мне надо было убежать, вернуться... понимаешь, вернуться... а на самолет у меня денег не было... уже не было... и я...

Она смотрела на него, широко распахнув глаза.

– Ишь, реснички-то накрашенные, неподъемные какие... Хочешь, допьем это дело, доедим, – он взял пальцами из тарелки ломоть буженины, засунул в рот, – а то и не доедим, соберем в кулечек... и еще бутылочку возьмем, в ночь, про запас... и рванем ко мне?.. Ко мне в мастерскую... И я вспомню, расскажу тебе, когда там... когда я...

– Когда вы убегали из Америки в Россию? – четко спросила чернявая. Он обрадованно кивнул.

– Вот-вот... да-да... А ты... а ты правда Люба Башкирцева?.. Это ведь ты?.. Я хлопал тебе... в порту... я кричал тебе: браво!.. Русская девка всех ниггеров за пояс заткнула!..

Алла смотрела на него все так же, широко открытыми глазами, не мигая. «Как кукла», – подумал он.

– Да, – кивнула она. – Да, я Люба Башкирцева. Ты угадал. И мы сейчас пойдем к тебе. Как ты хочешь.

Он долго возился с ключом. Забухшая дверь с трудом поддалась. Великий художник Канат Ахметов жил, существовал, прозябал в подвале неподалеку от Казанского вокзала, в Рязанском переулке. Она переступила порог и чуть не упала – вниз сразу же, за порогом, обрушивались три крутых ступеньки, а свет Ахметов не успел зажечь. Он вцепился в ее локоть и удержал ее.

– Ножку не сломала, примадонна?.. Вот и ладненько!.. Проходи... Дай шубочку сниму, поухаживаю за тобой, повешу... М-м-м, какая шубочка... Любочка... У меня, в моем логове –

сама Любочка!.. Баш-кир-це-ва... Да ведь и я тоже не лыком шит, а, Любашечка?.. Выпьем... закусим... Закусочку взяла из ресторана?.. «Парадиз» он и есть «Парадиз»...

Он зажег свет. Тусклая лампа под потолком. Как он работает здесь при таком тусклом свете? Алла огляделась. Да, логово. Логово волка. Старый волк лежит на холодном полу и рычит, есть хочет. И пить. Напиться, чтобы заглушить скорбь. Он узнал ее, сказал он. Беловолк сделал из нее копию Любы. Теперь ее все узнают на улицах. Хорошо, она ездит в машине.

– Машина у тебя классная, – пробормотал он. – У меня тоже раньше была... там, в Нью-Йорке. Я разбил ее в пух. Ну?.. Нравится у меня?..

НРАВИТСЯ. Какое слово. Алла проглотила слюну. Облизнула сухие губы. Огляделась. Подобралась вся, сжалась в комок.

Ей не могло здесь **НРАВИТЬСЯ.**

Она попала в ад.

Грязное и нищее жилище не могло испугать ее – она за всю свою маленькую жизнь навиделась таких жилищ выше крыши. Со всех сторон ее обступали Чудовищные Вещи. Такие, каких она никогда не видывала – и не могла бы увидеть нигде. Кроме как здесь. В мастерской в прошлом знаменитого, а ныне забытого, спившегося, проспиртованного до костей, нищего художника Каната Ахметова.

Прямо на нее глядела голова Медузы Горгоны. Она была сделана из настоящего черепа. Вместо волос-змей Ахметов приклеил к голому черепу Горгоны портняжные метры. Они свисали до полу, шевелились на сквозняке – хозяин не закрыл форточку, холод гулял по каморке. Зубы Горгоны скалились, пустые глазницы черно смотрели на Аллу. Огромная скульптура из двух стульев, водруженных друг на друга, увенчивалась глиняной тыквой и разбитым ночным горшком, из которого выползали – она вздрогнула, попятилась, взяла себя в руки – черные тараканы. Как настоящие, черт возьми, да они же картонные... из папье-маше... искусно крашенные. Нет, настоящие! Только мертвые... высушенные... наклеенные на дерево, на дерматин...

Господи, что это?! Виселица. Зачем он сделал здесь виселицу?! Что помнит душа человека о прошлых жизнях, о тысячах умерших, погибших насильственной смертью, об убитых на сотнях войн, о казненных? Он сделал виселицу... Боже, он совсем спятил... из ручки старого пылесоса... и петлю стащил – срезал?.. – из салона автобуса... Господи, помоги, да он же сумасшедший... И она приплелась сюда, к нему... Зачем?.. Ей захотелось развлечься?.. Отдохнуть от Беловолка?.. От вечной муштры?.. От Игната, под которого надо было ложиться и ложиться бесконечно, чтобы он тоже не выболтал миру ее тайну, шитую белыми нитками?.. От мыслей о Тюльпане?.. От чувства обреченности, что охватывало ее, едва она вспоминала об этой сволочи, о Павле Горбушко, и о том, что у нее осталось так немного времени?.. Так мало времени, чтобы...

На этой виселице он повесит ее. Напьется, ухнет в хлам, озверев, обезумев и повесит. И она будет качаться в троллейбусной петле, пьяная, с высунутым изо рта языком, с посинелой мордой, никакая не Любка, а просто Сычиха из Красноярска, пьяная после ночи с вокзальным обходчиком. Так все глупо кончится. Весь твой светский блеск, вся поддельная мишура.

Она шагнула вперед – и под ноги ей выстрелил сноп металлического, жесткого света.

Чтобы не упасть, она отшатнулась назад и схватилась рукой за спинку колченогого стула. Стул закачался, тоже как пьяный, поехал под тяжестью ее тела, ножка стула подломилась, и Алла упала – шумно, позорно, вместе со стулом, а Ахметов стоял и улыбался бессмысленно.

– Ну что же ты, крошка, – сказал он заплетающимся языком, – что же ты... ну поднимись... ну я сейчас...

Он протянул ей руку. Она оттолкнула ее. Встала сама. Отряхнула платье. Старался не смотреть в ту сторону, на пол, себе под ноги, откуда в нее ударил снизу этот странный, жестоко-ослепительный свет. Она даже не спрашивала себя, что это. Она знала – это сделал он. Еще

будет время посмотреть. Еще будет время спросить. Если, конечно, они не слишком крепко надерутся к утру. Позвонить Беловолку? Сотовый в сумочке. Лень. Потом. Когда ты не будешь лыко вязать?.. Все равно потом. Сейчас нельзя. Я гостя. Я в его личном Эрмитаже, в его бедняцкой сумасшедшей Третьяковке. Когда я падала, подумала она, моя черная юбка задралась, и он увидел мои ноги. Он сейчас будет вожделеть меня. Он начнет приставать ко мне. Все эти разговоры кончатся одним – тем, что ей так отлично известно. Зачем она сюда явилась?! Какого дьявола?!

– Любочка, голубочка...

– Я тебе не голубочка. Это все твои поделки? – Она обвела подвал рукой.

– А то чьи же! – Он выпятил под грязной рубахой тощую грудь. – Ахметов и без красок художник. Классные инсталляции?.. у, конфетки... первое место на Биеннале в Гран-Пале, золотая медаль...

– Что такое... инсталляции?.. – Ее голос внезапно сел, охрип. – Ин... что?..

Она впервые слышала это слово. Оно пугало ее. Так же, как все, что тут обступало ее со всех сторон.

– Ух ты, ах ты, она не знает... Ну, разгляди получше!.. И садись. Да садись ты, не бойся!.. Любка... – Она вспомнила, как Беловолк сказал когда-то, вспоминая о Любиной карьере там, в Америке: «А была рыжая Любка Фейгельман, красно-рыжая, как и ты». – Кто бы мог подумать, что у старика Ахметова, в его вертепе, в его берлоге...

Она искоса глянула на него. «Ты совсем не старик, – подумала она отчего-то зло. – Тебе от силы пятьдесят... а то и меньше. Алкоголики рано старятся. Тебя бы отмыть, почистить. И чтобы ты не пил водку хоть дня три, четыре».

– Где ты берешь деньги на водку? – спросила она, осторожно садясь на стул, такой же колченогий, как тот, сломавшийся.

– Да где угодно... где угодно. – Он засуетился, нашаривая посуду в распахнутом старом буфете. – Где угодно, видишь ли.

– Крадешь, что ли? – Она была не особенно деликатна.

Он тоскливо покосился на нее, прижимая к груди две битых фаянсовых чашки. Раскосый глаз загорелся тусклым светом, как лампа под потолком. Она пожалела, что вызвала в нем печаль. Чего доброго, еще заплачет.

– Я продаю работы.

– Кому? Таким же бомжам, как ты?

Он вздохнул. Поставил чашки на стол, укрытый пожелтелой газетой. Построгал потускневшую золотую серьгу в мочке уха.

– Тебе это интересно? Я думал, тебе будет интересно послушать про мою жизнь в Америке. Жизнь знаменитого художника в Америке, это же так интересно. – Он разлил водку. – Я такой водки давно не пил... аристократическая... маслом так и течет в плотку... и становится горячо... как в раю. Мы с тобой сегодня в раю, Любочка, а?!..

Она поморщилась. Усмехнулась. В раю. В таком раю, где она пребывает сейчас, не приведи Господи пребыть. У тебя мало времени, Алла. У тебя его так немного. Расслабься хоть чуть-чуть с этим забавным человечком.

«Он не забавный. Он серьезный. Он загадочный. Он... страшный. Он...»

Она резко, так, что он даже испугался и вздрогнул всем телом под нищенскими тряпками, повернулась туда, откуда ей под ноги брызнул серебряный свет.

– Что это?! Отвечай быстро! Ну!

Он испуганно вылил в рот водку. Понюхал рукав.

– Ты что... ты что это, Люба!.. Ты... с места в карьер?!.. ну нельзя же так резво брать с места в карьер... Это... тюльпан...

Она встала со стула. Шагнула к огромному листу железа, валявшемуся на полу, как ржавый корявый ковер. На ржавчине был тщательно процарапан гигантский цветок. Тюльпан. Серебряные, стальные крылья лепестков отсвечивали зловеще. От чашечки цветка вниз текла, вилась серебряная лента – Алла сначала подумала, змея, – потом догадалась: стебель. Цветок и стебель, и больше ничего. Металлический цветок – на густой, непроглядной ржавчине старости и смерти. Металлический цветок, как это мило. Железный цветок. Как прелестно все это, как изысканна инсталляция, или как там ее, несчастного художника, если не считать того, что в ее, Аллиной, сумке тоже лежит железный цветок.

Тоже тюльпан.

Бред. Невозможно. Так не бывает.

Так вот зачем она сюда пришла!

Вставай и быстро убегай, сыщица. Все равно тебе не разгадать этой загадки.

Сиди, кляча, на месте. Сиди, Сычиха, стерва. Не рыпайся. Тебя Бог сюда привел. Выпытай у этого человека все. Сдери с него кожу. Вынь из него душу. Но узнай. Узнай все. Иначе Горбушко тебя убьет. Иначе это ты будешь убийцей. И никто другой.

– Это твоя... картина?..

– Это моя картина.

Кажется, он был доволен, что ей понравилось. Его лицо лоснилось. Раскосые глаза искрились. По лбу бежали, переплетались морщины.

– Ты... – Ей хотелось крикнуть: у меня в сумке такой же цветок! Она закусила губу. – Ты... давно ее сделал?..

– Недавно. Это моя новая вещь. Тебе нравится?.. Купи. Ты богатая.

Ну да, он же думает, что она Любовь Башкирцева.

Ну да, он думает, что я – Любовь Башкирцева, что я богата, как норвежская королева, как мадам Форд, как Аль Капоне, и куплю у него эту картину, этот процарапанный на двери старого гаража стальной жуткий цветок за сто тысяч баксов, не иначе. Картина лежала у меня под ногами, цветок отсвечивал под тусклой лампой военным блеском сабли или меча, а быть может, остро наточенного ножа. Я подняла глаза и посмотрела на Ахметова.

Он пристально, сощуря свои наглые раскосые глаза, глядел на меня.

Нет. Все не так просто. Все совсем не так просто. Он неслучайно изобразил стальной тюльпан. Он... знает.

Он не знает! Это твои дурацкие догадки! Что, художник не может изобразить цветок?! Розу?! Гиацинт?! Тюльпан?! На двери гаража?! На крышке унитаза?!

– Я куплю у тебя эту картину. Сколько?

Я приоткрыла рот, глядя ему прямо в лицо. От его рта доносился запах водки.

– Сколько, говоришь?.. Ну-ну, сколько... Картины Ахметова бесценны. Ты, крошка, никогда не сможешь ее купить. Потому что я изобразил здесь свою беду. Свое дикое несчастье. Я процарапал здесь свою боль. Сильную боль. Ты такой мне нюхала.

Я ощупывала его лицо глазами. У меня закружилась голова. О какой беде он говорит?!

– Хочешь, расскажу?.. Мы ведь пришли разговаривать... пить, есть, говорить. Со мной так давно никто не говорил. Они в «Парадизе» все зовут меня – Эмигрант... Эмигрант, слышишь ты!.. Я просто – Эмигрант... Уже не Канат Ахметов... У меня уже нет имени. У меня нет возраста, нет имени, нет страны... а пола что, тоже у меня нет?!.. Ну уж нет, дудки... Я еще мужчина... Я... еще... художник!.. и мужчина!..

Он замолчал. В тишине я услышала, как он скрипит зубами.

– Там, давно, далеко, я любил женщину. Она была моей женой. Ты, слышишь!.. ты, бездарная певичка... У меня была жена. Самая красивая жена на свете. Красивая, как цветок. Я схватила себя за локти, чтобы не прыгали руки. Говори! Говори!

– Я так любил ее. – Голос говорившего охрип, будто он выстыл на морозе. – Мы так прекрасно жили. Я писал ее... о, где ни попадя, на чем ни попадя... раздевал, писал голую... целовал ее колени, швырнув кисти к чертям куда подальше, раздвигал ее ноги... Там... знаешь, там!.. о, там у нее все было – как цветок... Лепестки тюльпана... Я целовал эти лепестки... Она смеялась, стонала... Я любил распускать ее черные волосы, погружать в них лицо, руки... Она вся пахла пряностями, корицей, марципаном, Востоком, она была такая сладкая... моя Рита!.. Залман выставлял тогда меня на Манхэттене. Его... кокнули. Кто?.. Разве можно узнать когда-нибудь, кто кого на этом свете убил?.. Это все только на том свете будет ясно. Мы тут – слепцы!.. слепцы старика Брейгеля, и мы бредем, беспомощно схватившись друг за друга... и валимся, валимся, валимся в пропасть... и вопим как дураки: спасите!.. помогите... а сами уже летим задравши ноги...

Он замолчал. Я крепко сжала зубы. Боялась спугнуть его. Плеснула водки в чаши – себе и ему. Залпом вытила свою.

– Ну?.. Ты про жену говорил...

– Да, про жену. Про жену, верно! – Он выпил, подхватил двумя пальцами ломоть сырокопченой колбасы из мясного ассорти, что мы приволокли из «Парадиза». – Жена моя прелесть... другой такой на свете нет... сбежала от меня с любовником. Старая история! С любовником, с русским любовником, в Нью-Йорке полно русских, где она его подцепила, да еще и в Италию, ах, как романтично... Из Америки – в Италию... Черт бы драл... суки... – Он зажевывал колбасу, жевал долго, вслушиваясь во вкус, в свое чавканье, как в музыку. – А я так хотел в Италию с ней поехать... Вместе с ней – поглядеть Микеланджело, Рафаэля... А я ее... драгоценностями засыпал с ног до головы!.. я-то ей... жемчуга к ногам... алмазы... одно кольцо у меня от нее осталось, она все украшения забрала с собой, сука, когда убежала!.. а вот про него забыла... оно так и лежало рядом с палитрой, в мастерской... алмазное кольцо... и алмазики складывались, ха-ха-ха, во что бы ты думала, Любочка!.. в тюльпан... этот цветок меня преследует, он мне... да, да, уже надоел...

Он шумно выдохнул. Я сидела как на иголках. Черные тараканы, приклеенные к ночному горшку, были похожи в полумраке каморы на черные агаты.

– Что так смотришь?.. – вскинулся он. – Пьяный я, да?!.. Не пьянее тебя... И вот я стал жить без нее... жить-поживать, добро терять!.. кто-то, хакер какой-то скребаный, влез в мой счет... раздули дело... никого, конечно, как всегда, не нашли... все бытиффул и о'кей... я разорился, я переезжал с хаты на хату... я мучился. Я хотел... сюда!..

Он выкрикнул это так жалко, что мне захотелось схватить его седеющую голову, обнять и прижать к груди, исцеловать это раскосое лицо.

– И я пришел в порт... я стал удирать... у меня не было визы, не было денег, я из гордости не занял ни у кого... я постеснялся занять... меня многие знали, помнили... помнили мою славу... но я так хотел уехать, вернуться... я бредил Маросейкой, Якиманкой, Арбатом, Тверским бульваром... бредил Москвой... и я сказал себе: ступай в порт, подбей матросиков с русского лайнера, с нового «Титаника».. лучше напорись на льдину и утони, это будет лучше... заплати!.. улести... А платить-то нечем, кроме... кроме того алмазного кольца, ее кольцо, что я не продал, я на него смотрел, вспоминал ее, матерился и плакал... я медитировал, Любка, на это кольцо... И вот я его взял и пошел в порт, я придумал: я договорюсь с матросиком каким-нибудь славным, и он спрячет меня у себя в каюте, провезет тайком, а мне и жратвы особой не надо, ну, хлеба пусть с камбуза притащит, глоток воды... И я нашел такого матроса... добрую душу... и я ему сунул эту алмазную игрушку... мою последнюю память о ней... и он взял...

Колье. Алмазное кольцо в виде тюльпана. Где я видела такое?!

Фото. Фото в VIP-журнале. Искрящийся алмазный цветок на груди смеющейся у фонтана Тревви Любы Башикицевой.

Почему я не видела это колье в ворохе Любиных украшений в большой шкатулке, которую приносил мне Беловолк время от времени, когда я одевалась на концерт или мы оба собирались на вечер, раут или прием?!

– Он взял и довез тебя до России.

– Он взял, матрос, шельма, еще бы... и мы доплыли до России... и, пока я плыл, я плакал о потере... еще об одной потере...

– О какой?.. – Мой голос сошел на нет. Меня всю колотило.

– Хо-хо, детка... Я так ее любил, что я захотел... ну да, не смейся, как это смешно!.. ее убить... Я сильно любил ее и так же сильно захотел ее убить. Это было мое право. Право мужа... и любящего человека... Наша любовь принадлежала нам... Нам – и только!..

– Но она же, ваша жена, была свободным человеком. Она имела право...

– А я?! Я не имел права ее убить, если я так захотел?!.. Ну-ну, не бойся, крошка, у меня не получилось... Все рухнуло... А я ведь сделал оружие, для того, чтобы ее убить. Мне его сделал монгольский мастер, старик монгол Цырендоржи... там, в Чайна-тауне, в китайском квартале, в ресторане, похожем на франзу... или на бумажный, на карточный домик... весь исписан иероглифами... Я пришел к Цырендоржи и сказал: от меня ушла жена, я вернусь в Россию, разыщу ее и убью сначала ее, потом ее любовника. Монгол засмеялся: а ты найдешь их?.. Найду, сказал я... и взял с ресторанного стола свечу и поднес к ладони, и так держал огонь, пока не запахло паленым... и монгол выхватил у меня свечу и крикнул страшно: брось!.. я верю тебе...

– Я тоже верю тебе. – Я положила руку на его руку и крепко сжала ее. – Говори. Говори.

– Я... я заказал ему оружие. Я сказал ему: сделай такую штуку, чтобы это не было похоже на обычное оружие!.. на нож, на кинжал, на револьвер, на лезвие... на то, что стреляет и режет... чтобы то, что убивает, было запрятано внутри... Ха-ха!.. он понял меня, прожженный монгол... Он... согласился. Он сказал: я знаю древние китайские тайны, тайны оружия династии Тан, тайны Чингисхана... устройство самурайских тайных мечей... древние секреты... я сделаю тебе, что ты хочешь, сказал он, но для этого надо заплатить мне, ха-ха!.. А-ха-ха!.. а денег-то у меня уже не было... а колье жены я приберегал на оплату возвратной дороги... И тогда я сказал ему: заказывай любую картину, Цырен, друг, я тебе напишу, только холст и краски – твои... И он крикнул мне так весело: напиши мне на всю мою жизнь красивую голую женщину, и чтоб я все время смотрел на нее, и у меня всегда стояло!.. ха, ха, ха... И я написал ему красивую голую женщину, Любка... Угадай, с кого я ее списал?!.. Угадала?!.. А?!..

Меня колыхало, как в том корабле, в том океанском пароме, в котором он, в трюмном затхлом закутке, в запахах мазута и мешковины, возвращался на родину.

– Ты написал жену?..

– А кого же еще?!.. Голую, лежащую в подушках, расставив ноги, будто она собирается меня принять в себя... с распущенными волосами... И Цырен весь соком изошел, когда увидел... И хлопнул меня по спине, и завопил: я сделаю тебе то, что ты хочешь! И ты убьешь этим неверную жену, ведь неверных жен всегда убивают, не правда ли?!.. а-ха-ха-ха-ха...

Он так хрипло засмеялся, что я вздрогнула. Дьявол. Я сидела и беседовала с дьяволом.

Не выдумывай, Алка. Слушай и запоминай. Тебе невиданно повезло. Только не спугни его. Не спугни.

– Эта игрушка была хороша... ох, как хороша!.. Это было настоящее произведение искусства... Черт побери, эту штуку хотелось взять в руки, нянчить, как ребенка, взвешивать на ладони ее сладкую тяжесть... она была такая красивая и сладкая, такая волнующая, как... как женщина... как драгоценность... как хорошая живопись, мать ее... Я был там, в мастерской Цырена, когда он мне ее делал. Я следил, как вздымается молоток в его руке. Ковка – древнее ремесло... такое же древнее, как живопись... удовольствие смотреть на

мастера... как на акт... как на любовь... Он делал Тюльпан на моих глазах... делал... делал... И еще он вделал в него такое... такое... об этом сейчас нельзя говорить... Ты!.. Любашка!.. Что так смотришь?!.. Я... вспомнил тебя... это ты стояла за окном, ты показывала мне Тюльпан через морозное стекло... ты... ты... Отдай мне его!.. Отдай!.. Я тебе – картину, а ты мне – его!.. А-ха-ха-ха-ха...

Сумасшествие. Вот сейчас. Сейчас я смогу спросить у него, как же Тюльпан убивает.

Тихо! Сиди тихо. Одно твое слово, движение – и ты спугнешь его. Он же в стельку пьян.

Лучше плесни ему еще. Чтобы язык у него развязался совсем.

Нет. Не надо. Он упадет головой на стол. И заснет. Лучше не надо. Слушай.

– И она убежала... и у меня был Тюльпан... и я сжимал его в руке, как сжимал когда-то ее грудь... ее живую грудь... и я его потерял... потерял, падла, а-а-а!.. я сволочь, я последняя сволочь, я его потерял... я сидел в ресторане, я надрался, я был погружен в черноту, все время погружен в черноту... я видел вокруг только сиену эжженную, только умбру, только ультрамарин... только черную краску видел я... и я надрался как свинья... я надрался до чертиков... в стельку... в дымину... как никогда в России не надирался... мне надо было как-то заглушить горечь... и я вертел Тюльпан в руках... вертел и мял... игрался с ним, игрался, дурень... и он выпал у меня из руки, как шишка... и покатился... и я сам покатился лбом в стаканы с недопитым виски... а там, рядом со столом, все вертелся какой-то негр... какой-то черный вертелся там, я помню... я смутно помню... помню, как плакал!.. как кричал: fuck you, America!.. Может быть, он поднял мой Тюльпан... может быть... не помню... больше ничего не помню...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.